ТУВЕ ЯНССОН / ДОЧЬ СКУЛЬПТОРА

амфора

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автобиографическая повесть.

- Туве Янссон
  - ЗЛАТОЙ ТЕЛЕЦ
  - ТЕМНОТА
  - КАМЕНЬ
  - ПИРУШКА
  - АННА
  - АЙСБЕРГ
  - МОРСКИЕ ЗАЛИВЫ
  - МОРСКОЕ ПРАВО
  - АЛЬБЕРТ
  - ПОЛОВОДЬЕ
  - ИЕРЕМИЯ
  - ТЕАТР
  - ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ФРУ
  - ТЕТУШКА, ОДЕРЖИМАЯ ИДЕЕЙ
  - ТЮЛЕВАЯ ЮБКА
  - СНЕГ
  - КРАСНУХА
  - ЛЕТАТЬ…
  - РОЖДЕСТВО
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18

- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29

Туве Янссон
Дочь скульптора

ЗЛАТОЙ ТЕЛЕЦ

Мой дедушка, мамин отец, был священником и читал проповеди в церкви перед королем. Однажды, еще до того, как его дети, внуки и правнуки заселили нашу землю, пришел дедушка на длинный зеленый луг, окаймленный лесом и горами, отчего луг этот напоминал райскую долину, и только с одного конца долина выходила к морскому заливу, чтобы дедушкины потомки могли там купаться.

Вот дедушка и подумал: «Здесь стану я жить и размножаться, потому как это и есть воистину земля Ханаанская»[1].

Затем дедушка с бабушкой построили большой дом с мансардой и множеством комнат, и лестниц, и террас, а также громадную веранду и понаставили повсюду и в доме, и вокруг дома белую деревянную мебель. А когда все было готово, дедушка стал садовничать. И все, что он сажал, пускало корни и размножалось — и цветы, и деревья, пока луг не начал походить на небесный райский сад, по которому дедушка и странствовал, окутанный своей окладистой черной бородой. Стоило лишь дедушке указать своей палкой на какое-нибудь растение, как на него снисходило благословение и оно росло изо всех сил, да так, что кругом все только трещало. Дом зарос жимолостью и диким виноградом, а стены веранды сплошь покрылись мелкими вьющимися розами. В доме сидела бабушка в светло-сером шелковом платье и воспитывала своих детей. Вокруг нее летало так много пчел и шмелей, что жужжание их звучало, словно слабые звуки органной музыки; днем сияло солнце, ночью шел дождь, а на альпийской горке с декоративными растениями обитал ангел, которого нельзя было тревожить.

Бабушка была еще жива, когда мы с мамой приехали, чтобы поселиться в западной комнате, где тоже стояла белая мебель и висели спокойные картины, но никаких скульптур не было.

Я была внучкой, Карин — другой внучкой, и ее украшали вьющиеся волосы и очень большие глаза. Мы играли на лугу в детей Израиля.

Бог жил на горе, над альпийской горкой с декоративными растениями, там наверху было болото, куда ходить запрещалось. На закате Бог отдыхал, распростершись и покоясь над нашим домом и над лугом в виде легкого тумана. Он мог сделаться совсем тоненьким и проникать повсюду, чтобы видеть, чем ты занимаешься, а иногда он превращался лишь в одно большое око. Вообще-то он был похож на дедушку.

Мы роптали в пустыне и непрерывно были непослушными

детьми, потому что Бог страсть как любит прощать грешников. Бог запрещал нам собирать манну небесную[2] под цветущим золотым дождем, но мы все равно ее собирали. Тогда он наслал червяков из земли, которые сожрали манну. Но мы все равно были по-прежнему непослушны и по-прежнему роптали.

Мы все время ждали, чтобы Бог сильно-пресильно разгневался и явился нам. Мысль об этом была всепоглощающей, мы ни о чем и ни о ком думать не могли, кроме как о Боге. Мы приносили ему жертвы, мы дарили ему чернику, и райские яблоки, и цветы, и молоко, а иногда он получал совсем немножко поджаренных на жертвенном костре животных. Мы пели ему и все время молили его подать нам знак, что ему интересно, чем мы занимаемся.

И вот однажды утром Карин явилась и сказала, что ей был подан знак. Он послал птицу-овсянку к ней в комнату, и овсянка уселась на картину, где Иисус бредет по воде, и три раза кивнула головкой.

— Воистину, воистину, говорю я тебе, — сказала Карин. — Избранники Божьи всегда удостаиваются почестей.

Она надела белое платье и целый день ходила повсюду с розами в волосах и возносила хвалу Богу и казалась ужасно неестественной. Она была красивее, чем когда-либо, и я ненавидела ее. Мое окно тоже было открыто. У меня висела картина с ангелом-хранителем у бездны на дороге. Я зажгла несчетное множество жертвенных костров и собрала еще больше черники для Бога. Что же касается ропота, я была такой же непослушной, как Карин, чтобы удостоиться Небесного прощения.

Во время утренней молитвы на веранде у Карин был такой вид, словно дедушка читал проповедь только для нее. Она медленно с задумчивой физиономией кивала головой. Она скрестила руки задолго до молитвы «Отче наш». Она пела, упрямо устремив взгляд к потолку. После этой истории с овсянкой Бог принадлежал только ей одной.

Мы не разговаривали, а я прекратила и роптать, и приносить жертвы; я бродила вокруг и так ей завидовала, что мне становилось дурно.

В один прекрасный день Карин выстроила на лугу всех наших двоюродных сестер, даже тех, которые еще не умели говорить, и стала толковать им библейский текст.

Тогда я сотворила златого тельца[3].

Когда дедушка был молод и садовничал изо всех сил, он кольцом насадил ели далеко-далеко внизу на лугу, так как хотел, чтобы у него была беседка, где можно пить кофе. Ели все росли и росли и превратились в громадные черные деревья, ветки

которых сплелись между собой. В беседке всегда было совершенно темно, а вся хвоя опадала из-за того, что была лишена солнца, и ложилась на обнаженную землю. Никто не хотел больше пить кофе в еловой беседке, а охотнее сидел под золотистым цветочным дождем или на веранде. Я сотворила своего златого тельца в еловой беседке, потому что место это было языческим, а форма круга всегда хороша для того, чтобы установить скульптуру.

Очень тяжело было заставить тельца стоять, но в конце концов все получилось, и я крепко приколотила его ноги к цоколю — на всякий случай. Иногда я прекращала работу и прислушивалась, не раздастся ли первый глухой грохот — изъявление Божьего гнева. Но Бог пока ничего не говорил. И только огромный его глаз смотрел прямо вниз в еловую беседку сквозь просвет меж верхушками елей. Наконец-то я его заинтересовала.

Голова тельца получилась очень хорошо. Я работала с жестянками, тряпками и с остатками муфты и связала все это вместе шнуром. Если отойти немного и прищурить глаза, скульптура в самом деле излучала в темноте слабое золотое сияние, в особенности светилась мордочка теленка.

Я очень этим заинтересовалась и начала все больше и больше думать о златом тельце и все меньше и меньше о Боге. Это был очень хороший златой телец. Под конец я обложила его кольцом из камней и собрала жертвенный костер из сухих веток.

Только когда жертвенный костер был готов и оставалось лишь зажечь его, на меня снова начал наползать страх, и я застыла на месте, прислушиваясь.

Бог молчал. Быть может, он ждал, когда я вытащу спички. Он хотел увидеть, осмелюсь ли я в самом деле свершить неслыханное — принести в жертву златого тельца и даже сплясать после этого. И тогда он спустится вниз со своей горы в облаке молний и небесных кар и покажет: он заметил, что я существую. А потом Карин может заткнуться со своей дурацкой птичкой-овсянкой и со всей своей святостью и черникой!

Я все стояла и прислушивалась, прислушивалась, а тишина все росла и росла, пока не стала колоссально всеобъемлющей. Все кругом прислушивалось. Это было позднее послеполуденное время, и немного света проникало сквозь живую еловую изгородь и окрашивало ветви багрянцем. Златой телец смотрел на меня и ждал. Ноги мои начали неметь. Я шла задом наперед к просвету меж елями и все время смотрела на златого тельца; стало светлее и теплее, и я подумала, что на цоколе можно было бы сделать надпись.

За живой еловой изгородью стояла бабушка, на ней было ее красивое серое шелковое платье, а пробор на голове — прямой, как у ангела.

— В какую игру ты играла? — спросила она и прошла мимо меня.

Она остановилась, посмотрела на златого тельца и улыбнулась. Притянув меня к себе и рассеянно прижав к прохладному шелку платья, она сказала:

— Нет, только погляди, что ты сотворила. Маленького ягненка. Маленького агнца[4] Божьего.

Потом она снова отпустила меня и медленно пошла вниз лугом.

Я осталась на месте, и глазам моим стало жарко, а почва ушла из-под ног, и Бог снова переселился на свою гору и успокоился. Она даже не увидела, что это теленок! Ягненок, Боже мой! Меньше всего он похож на агнца, ничего подобного!

Я все смотрела и смотрела на своего теленка, и бабушкины слова стерли с него все золото, и ноги были уже не такими, и голова — не такая, и уж если он вообще походил на кого-нибудь, то, быть может, на ягненка. Он был нехорош. И ничего общего со скульптурой в нем не было.

Я влезла в шкаф, где хранилась всякая всячина, и сидела там очень долго и все думала. Потом я нашла в шкафу мешок и, надев его на себя, вышла на луг и стала ходить вокруг Карин, волоча ноги: колени мои были согнуты, а волосы падали на глаза.

— Что случилось? — спросила Карин. И я ответила:

— Воистину, воистину говорю я тебе, я — великая грешница.

— Ого! — сказала Карин.

Я видела, что слова мои внушили ей уважение.

А потом мы опять, как обычно, были вместе и лежали под золотистым цветочным дождем и шептались о Боге. Дедушка ходил вокруг, заставляя все расти, ангел же по-прежнему жил себе и жил на альпийской горке с декоративными растениями, словно ничего вообще не случилось.

ТЕМНОТА

За русской церковью виднеется пропасть. Мох и мусор — скользкие, а глубоко внизу валяются колючие консервные банки и светятся. Они столетиями нагромождались в штабеля, все выше и выше, прямо против темно-красного длиннющего дома без окон. Красный дом расползается вокруг горы, и очень важно то, что он без окон. За домом раскинулась гавань — тихая и без единой лодки. Маленькая деревянная дверца на склоне горы ниже церкви всегда заперта.

— Не дыши, когда пробегаешь мимо этой дверцы, — сказала я Пойу. — А не то оттуда вылезут гнилостные бактерии и заберут тебя.

У Пойу вечно насморк. Он играет на пианино и постоянно держит руки перед собой так, словно боится, что на него нападут, или же словно просит прощения. Я вечно пугаю его, а он вечно тащится за мной, чтобы я его пугала.

Как только наступают сумерки, какое-то громадное серое существо начинает наползать на гавань. У этого существа нет лица, зато есть отчетливо различимые руки, которыми оно, пока ползет, накрывает один остров за другим. Когда острова кончаются, существо это простирает над водой руку, чрезвычайно длинную руку, которая чуть дрожит, и начинает нащупывать Сорочий мыс. Пальцы тянутся к русской церкви и касаются горы.

Ой! Какая большая серая рука!

Я знаю, что ужаснее всего на свете. Это каток. У меня есть шестиугольная эмблема катка, крепко пришитая к курточке. Ключ от коньков висит на шее на шнурке от ботинка. Когда спускаешься вниз на лед, каток кажется всего лишь маленьким браслетиком света, далеко-далеко в темноте. А гавань представляется морем голубого снега, и одиночества, и грустного свежего воздуха.

Пойу не бегает на коньках, потому что у него подкашиваются ноги, но мне кататься необходимо. За катком таится ползущее существо, а вокруг катка — кольцо черной воды. Вода дышит вокруг ледяной черной кромки, она медленно шевелится, а иногда со вздохом поднимается и переливается через край на лед.

Когда можно спастись на катке, никакая опасность уже не грозит, правда, впадаешь в меланхолию.

Сотни черных человеческих фигур катаются кругом, все вокруг да вокруг, все в одну и ту же сторону, решительно и бессмысленно, а посреди катка сидят в брезентовой палатке два замерзших старичка и играют. Они играют танго на мелодию

популярного шлягера «Рамона».

Я часто бываю на катке. Холодно. Из носа течет, а когда вытираешь его, на варежках появляются сосульки. Коньки надо плотно прикрепить к каблукам. Там есть обитое железом отверстие и туда вечно набивается множество мелких камешков. Я выковыриваю их оттуда ключом от коньков. Затем еще эти негнущиеся ремешки, которые крепятся каждый в свое отверстие. А потом я катаюсь кругом на катке вместе с другими ребятами, чтобы подышать свежим воздухом и потому что эмблема катка — знак того, что ты умеешь кататься на коньках, — ценится очень высоко. Пугать здесь некого, все катаются быстрее меня, на катке только и слышны что скрип да скрежет, когда незнакомые тени проезжают мимо.

Лампочки качаются на ветру. Но даже если они погаснут, мы будем по-прежнему кататься в темноте, все вокруг да вокруг, а музыка будет играть не переставая, и мало-помалу проход во льду вокруг нас, проделанный ледоколом, будет становиться все шире, он начнет зиять и дышать еще сильнее, и вся гавань превратится в сплошную черную воду с одиноким островком льда, где мы по-прежнему будем кататься веки вечные, аминь.

Рамона — писаная красавица и бледна, как невеста Грома. Детям она запрещена. Но невесту Грома я видела в музее восковых фигур. Мы с папой любим музей восковых фигур. Рамону убило молнией как раз в тот момент, когда она собралась выйти замуж. Молния ударила в миртовый венец Рамоны и вылетела через окно. Поэтому невеста Грома — босая, и можно отчетливо увидеть множество голубых кривых линий на подошвах ее ног, откуда вылетела из тела молния. В музее восковых фигур видно, как легко уничтожить людей. Их можно раздавить, разорвать пополам и даже распилить на куски. Никто не может быть в чем-то уверен, и поэтому так важно вовремя поискать надежное убежище.

Я обычно пою для Пойу грустные песни. Он, хотя и затыкает уши руками, все равно слушает. «Жизнь — это остров скорби и печали, не успеешь век прожить, тут и смерть пришла — поминай, как звали!» Остров скорби и печали — это каток. Мы нарисовали его, сидя под обеденным столом. Пойу рисовал с линейкой. Он рисовал каждую доску в заборе и лампочки на одинаковом расстоянии друг от друга, и карандаш его был чересчур жестким. Я рисовала только черным карандашом № 4Б. Рисовала либо мрак на льду, либо проход во льду, либо тысячу черных человеческих фигур на скрипучих коньках, которые бегали вокруг. Он не понимал, что я рисую, и тогда я брала красный карандаш и шептала: «Следы крови! Следы крови на

всем катке!» И Пойу кричал, пока я переносила исполненные жестокости картинки на бумагу так, чтобы они не могли коснуться меня и чем-нибудь навредить.

Однажды в воскресенье я научила его, как избавиться от змей, которые обитают в большом плюшевом ковре. Единственное, что нужно делать, это ходить по его светлым краям, и только по светлым узорам. Если наступишь рядом на коричневый узор — ты пропал. Там внизу змеи так и кишат, это описать невозможно, это можно только представить. Каждый может придумать себе свою собственную змею, потому что чужая никогда не будет такой ужасной.

Пойу балансировал по ковру мелкими-премелкими шажками, держа руки перед собой, и жалобно размахивал большим мокрым носовым платком.

— Теперь светлые узоры будут очень узенькие. Берегись и попытайся перепрыгнуть через этот темный цветок в середине ковра!

Цветок за спиной Пойу был положен косо, и узор, утончаясь, переходил в завиток. Пойу тщетно пытался удержать равновесие и отчаянно размахивал носовым платком. Он закричал, а потом упал прямо на коричневый узор. Он все кричал и кричал и катался по ковру, потом оказался на полу и забился под шкаф.

Я тоже кричала, ползла за ним следом, обхватив его руками, и держала, пока он не успокоился.

Незачем заводить плюшевые ковры, они опасны. Куда лучше жить в мастерской художника, где пол цементный. Поэтому Пойу вечно рвется в наш дом.

Мы копаем тайный ход через стену. Я успела выкопать довольно много и работаю, только когда дома никого нет.

Деревянная панель мало-мальски поддалась, и тогда я взялась за мраморный молоток. Дыра, проделанная Пойу, гораздо меньше, да и у отца этого мальчонки такие скверные инструменты, что просто стыд и срам.

Каждый раз, когда в доме никого нет, я приподнимаю тканые обои и колочу дальше, и никто даже не заметил, что я делаю. Это мамины тканые обои, которые она в молодости нарисовала на мешковине. На рисунке изображен вечер. Прямые стволы деревьев поднимаются из болота, а за стволами небо багровое, потому что солнце садится. Все, кроме неба, потемнело, превратившись в какой-то неопределенный серо-бурый цвет, но узкие красные полосы пламенеют как огонь. Я люблю этот мамин рисунок. Он глубоко проникает в стену, глубже, чем моя дыра, глубже, чем гостиная в доме Пойу, он проникает в стену до бесконечности, и никогда ему оттуда не выйти и не увидеть, как

садится солнце, а багрянец, окрасивший небо, на рисунке становится лишь еще ярче. Я думаю, что там горит… Там горит большущий ужаснейший пожар, такой пожар, в ожидании которого вечно живет папа.

В первый раз, когда папа показал мне свой пожар, была зима. Папа шел впереди по льду, а мама шла сзади и тащила меня на санках. Небо было таким же багряным, как и на картине, и так же чернели фигуры людей, которые бегали. Но случилось что-то ужасное. На льду лежали черные, колючие вещи. Папа собрал их и положил мне на руки, они были очень тяжелые и давили мне на живот.

Взрыв — красивое слово, очень большое и емкое. Позднее я научилась другим словам, таким, которые шепчут, только когда остаются одни: «Неумолимый. Орнаментика. Профиль. Катастрофичный. Наэлектризованный. Лавка Колониальных Товаров».

Слова эти становятся еще крупнее, если их повторять множество раз. Их шепчешь и шепчешь без конца, и каждое слово все растет и растет до тех пор, пока ничего иного, кроме этого слова, не остается.

Я все думаю, почему пожар всегда бывает ночью? Может, папа не обращает внимания, когда пожар бывает днем, потому что небо тогда не становится багровым. Папа всегда будил нас, когда случался пожар, и мы слышали, как воет пожарная машина; надо было спешить, и мы бежали по совершенно пустынным улицам. Дорога к папиному пожару была ужасно длинной. Все дома спали, простирая трубы к багровому небу, которое все приближалось и приближалось, и в конце концов мы оказывались там, где горело, и папа поднимал меня на руки и показывал огонь. Но иногда это был плохонький маленький пожарец, который давным-давно погас, и тогда папа обижался, бывал подавлен и приходилось его утешать.

Маме нравятся только маленькие пожары, которые она устраивает тайком в пепельнице. А еще огонь в печке или в камине. Она разводит огонь в мастерской и в коридоре каждый вечер, когда папа выходит поискать знакомых.

Когда огонь разгорается, мы подтаскиваем к нему большое кресло. Мы гасим свет в мастерской и сидим перед огнем, а мама начинает рассказывать: «Жила-была маленькая девочка, такая ужасно красивая, и ее мама так жутко любила ее…» Каждая история должна начинаться одинаково, а потом уже не обязательно рассказывать так уж точно. Мягкий медленный голос звучит в теплой темноте, а ты смотришь в огонь, и никакая опасность на свете не грозит тебе. Все иное где-то снаружи и не

может войти в дом. Ни теперь, ни когда-нибудь потом.

У мамы длинные темные волосы, они окутывают ее, словно облако, они вкусно пахнут, они как у печальных королев в моей книге. Самая красивая картинка занимает целую страницу. На картинке изображен ландшафт в сумерках — равнина, поросшая лилиями. По всей равнине бродят бледные королевы с лейками. Та, что ближе всех, невероятно красива. Ее длинные темные волосы мягкие, словно облако, и художник осыпал их блестками, возможно, покрыл их краской, когда все уже было готово. Профиль королевы мягок и серьезен. Всю свою жизнь она ходит в этой книге и только и делает, что поливает цветы, и никто не знает, какая она красивая и печальная. Лейки нарисованы настоящей серебряной краской, а откуда у издательства нашлись на это средства, не понимаем ни мама, ни я.

Мама часто рассказывает о Моисее, о том, как его нашли в тростнике, и что было потом; об Исааке и о народе, который тоскует по дому, по своей собственной стране, который сбивается с пути, блуждая по пустыне, а потом находит дорогу; о Еве и змие в раю и о страшных ураганах, которые наконец-то успокаиваются. Большинство людей, во всяком случае, тоскуют по дому и чуточку одиноки, они прячутся в своих собственных волосах, и их превращают в цветы. Иногда их превращают в лягушек, и Бог не спускает с них глаз и прощает их, если только не рассержен и не оскорблен и не уничтожает целые города за то, что жители их веруют в других богов.

Моисей тоже время от времени бывал несдержан. Женщины же только и делали, что томились в ожидании и тосковали о доме. «О, я поведу тебя в твою собственную страну, или какую только ты захочешь во всем мире, и нарисую блестки в твоих волосах, и выстрою тебе замок, где мы будем жить, пока не умрем, и никогда-никогда не предадим друг друга!» А в глухом и дремучем бескрайнем лесу, «где было раздолье ветрам и тучам», брел однажды всю ночь напролет маленький ребенок, и ночь была такая длинная, лес такой темный, а дорога узкая, и ребенок шел и плакал от одиночества, плакал и думал:

> Ужель никогда я
> Жилья отца не найду, блуждая,
> В непроходимом этом бору
> От жажды и голода я умру[5].

Очень обнадеживающе! Так бывало, когда мы оказывались уже в безопасности, заперев двери дома.

Папины скульптуры медленно шевелились вокруг нас при

свете огня, его печальные белые женщины делали осторожные шаги и все, как одна, готовы были убежать. Они знали об опасности, которая таится повсюду, но ничто не могло их спасти, прежде чем скульптуры не вырубят из мрамора и не поместят в музей. Там они будут в безопасности. В музее, или где-нибудь на высоте длиною в сажень, или в дупле дерева. Но по возможности под крышей. Однако лучше всего, вероятно, сидеть на высоком дереве, если только ты не лежишь еще в животе у мамы.

КАМЕНЬ

Он лежал между кучей угля и товарными вагонами под несколькими обломками досок, и просто чудо Божье, что никто не нашел его раньше меня. С одной стороны камень весь сверкал серебром, а если стереть угольную пыль, то видно, что серебро прячется и внутри камня. Это был гигантский камень из чистого серебра, и никто еще не нашел его.

Я не посмела спрятать его, ведь кто-нибудь мог подсмотреть, подойти и унести его, пока я сбегаю домой. Камень пришлось катить. И если бы кто-нибудь появился, чтобы помешать мне, я уселась бы на камень и закричала благим матом. Я могла бы укусить тех, кто попытался бы поднять камень. Я была способна на все.

И вот я начала катить камень, медленно-медленно. Он только опрокидывался на спину и тихо лежал, а когда я снова попыталась поднять его, он улегся на живот и закачался. Серебро сошло с него, и остались мелкие тоненькие шелушинки, которые застревали в земле и разваливались, когда я пробовала выковырять их оттуда.

Я встала на колени и покатила камень, дело пошло лучше. Но камень поворачивался лишь на пол-оборота за раз, и это отнимало ужасно много времени. Пока я катила камень внизу в гавани, никто не обращал на меня внимания. Когда же я перетащила камень на тротуар, стало труднее. Люди останавливались и стучали своими зонтами о тротуар и говорили множество разных слов. А я ничего не отвечала, я только смотрела на их ботинки. Надвинув шапочку на глаза, я только все катила и катила камень, думая, что потом придется перетаскивать его через улицу. Я катила камень уже много часов подряд и ни одного единственного раза не подняла глаз и не слышала ничего из того, что мне говорили. Я только смотрела на серебро, присыпанное сверху угольной пылью, и на прочую грязь и старалась занять как можно меньше места там, где ничего другого, кроме камня и меня, не было. Но вот, наконец, пора было перетаскивать камень через улицу.

Одна машина за другой проезжали мимо, а иногда и трамвай, и чем дольше я ждала, тем труднее было катить камень по улице.

В конце концов, ноги мои начали дрожать, и тогда я поняла, что слишком поздно, что уже через несколько секунд будет слишком поздно, поэтому я столкнула камень в водосточную канаву и очень быстро покатила, не поднимая глаз. Я держала камень как раз перед самым носом, чтобы пространство, в

котором мы с ним укрывались, было поменьше, и очень хорошо слышала, как останавливались и злились автомобили, но я держала их на расстоянии и только все катила и катила камень. Можно совершенно отключиться, если что-то для тебя действительно важно. Тогда все хорошо. Сжимаешься и закрываешь глаза и все время произносишь одно важное слово, произносишь его до тех пор, пока не почувствуешь уверенность в себе.

Когда я подошла к трамвайным рельсам, я уже настолько устала, что навалилась на камень, держась за него. Но трамваи только и делали, что звонили и звонили без конца, да так, что мне пришлось снова покатить камень дальше, и теперь я больше не боялась, а только злилась, и от этого чувствовала себя гораздо лучше.

Вообще-то камень и я занимали такое маленькое пространство, что ровно ничего не значило, кто кричал, и что кричали все эти люди. Мы с камнем были ужасно сильными. Мы снова, как ни в чем не бывало, выкатились на тротуар и продолжали подниматься в гору по улице Лотсгатан. За нами тянулась узкая дорога, вся из чистого серебра. Иногда мы с камнем отдыхали, а потом снова продолжали путь.

Мы вошли под арку ворот и открыли дверь, а потом начались лестничные марши. Но если встаешь на колени и все время крепко держишь камень обеими руками и ждешь, пока установится равновесие, все получается. Затем поднатуживаешься, задерживаешь дыхание и прижимаешь запястья к коленям. Потом поднимаешь камень вверх быстро-быстро — и через край ступеньки, и живот снова расслабляется, а ты прислушиваешься и ждешь, но подъезд совершенно пустой. А потом все снова происходит точно так же.

Когда за поворотом лестница становится узкой, нам приходится переместиться к стенке. Мы медленно поднимаемся наверх, но никто так и не появляется. Тут я снова наваливаюсь на камень и только пытаюсь отдышаться и смотрю на серебро. Серебро, которое стоит так много миллионов. Еще только четыре этажа, и мы у цели.

На пятом этаже это и произошло. Рука в варежке соскользнула, я упала вниз лицом и лежала абсолютно тихо, слушая ужасающий звук падающего камня. Звук становился все громче и громче, камень разбивался на мелкие кусочки, и сокрушал, и пугал всех и вся, а под конец — мягкий звук тяжелого, неловкого падения — “бум”, как в Судный день, когда камень ударился о ворота Немезиды (В греческой мифологии богиня, наблюдающая за справедливым распределением благ

среди людей и обрушивающая свой гнев на тех, кто преступает Закон.).

Настал конец мира, и я закрыла глаза варежками. Но ничего не произошло. Громкое эхо поднялось наверх и спустилось вниз по лестнице, но ничего не произошло. Никакие злые люди не вышли из своих дверей. Но, быть может, они подслушивали у дверей в своих квартирах.

Я снова поползла вниз на четвереньках. У каждой ступеньки были отбиты кусочки в виде маленького полукруга. Гораздо ниже это были уже большие полукруги, и куски камня валялись повсюду и таращили на меня глаза. Я откатила вниз камень от ворот Немезиды и начала все с самого начала. Мы снова двинулись наверх, стойко и не глядя на разбитые ступеньки. Мы прошли мимо места, где камень сорвался, и немного отдохнули перед балконной дверью, темно-коричневой, с мелкими квадратными стеклышками.

И тут я услыхала, что дверь на улицу открылась и снова захлопнулась, а кто-то стал подниматься по лестнице. Этот кто-то все шел и шел очень медленными шагами. Я подползла к перилам и глянула вниз. Я увидела весь лестничный пролет до самого дна, увидела длинный узкий прямоугольник, который до самого низу был зашнурован лестничными перилами, а по перилам, крепко сжимая их, шествовала, все приближаясь и приближаясь, большая рука. На руке — посредине — было пятно, так что я узнала татуированную руку дворника, поднимавшегося по лестнице, скорее всего, на самый верх, на чердак.

Я открыла как можно тише балконную дверь и начала перекатывать камень через порог. Порог был высокий. Я перекатывала бездумно, я очень боялась и поэтому не удержала камень, и он покатился наискосок к дверной щели и застрял… Там было две двери, и у каждой наверху — по металлической пружине, которые поставил дворник, потому что женщины всегда забывали закрывать двери. Я слышала, как пружины сжимаются, медленно наседая на камень и на меня. Они пели очень тихими голосами. Я подтянула ноги, бросилась на камень, схватила его и попыталась катить, но пространство становилось все уже и уже, а я знала, что рука дворника все время скользит по перилам лестницы.

Совсем близко видела я серебристый камень, и я вцепилась в него, и катила его, и упиралась ногами… И тут вдруг он опрокинулся, покатился и, сделав несколько оборотов, нырнул под железные перила, повис в воздухе и исчез.

Я видела лишь клочья пыли, легкие и воздушные, как пух, и кое-где мелкие жилки краски.

Я лежала, распростершись на животе, дверь зажала меня, и было совершенно тихо до тех пор, пока камень не упал на двор. И там он разбился на куски, как метеор, он покрыл серебром все мусорные баки, и баки, где кипятилось грязное белье, и все окна и лестницы! Камень посеребрил весь дом № 4 по улице Лотсгатан, когда, расколовшись вдребезги, открыл свое сердце, и все женщины кинулись к окнам, думая, что разразилась война или настал Судный день! Каждая дверь отворилась, а все жители дома во главе с дворником забегали вверх-вниз по лестницам и увидели, что какое-то чудовище отбило по куску от каждой ступеньки, а с неба упал метеор. Я лежала, зажатая между дверями и так ничего и не сказала. Ничего не сказала я и потом. Никто так и не узнал, как близки мы были к тому, чтобы разбогатеть.

ПИРУШКА

Иногда я просыпалась по ночам от звуков прекраснейшей музыки, какая только есть на свете, и это были звуки балалайки и гитары. Папа играл на балалайке и на гавайской гитаре, оба инструмента звучали вместе, очень тихо, почти шепотом, пребывая где-то далеко-далеко, а потом звуки все приближались и приближались уступа место друг другу, так что иногда пела балалайка, а иногда гитара.

Это были нежные и меланхоличные песни о всяких разных делах, которые все только продолжаются и продолжаются и с которыми никто ничего не может поделать. Затем песни становились дикими и смутными, а Маркус всякий раз вдребезги разбивал свой бокал. Однако он никогда не разбивал больше одного, и папа следил за тем, чтоб он пил из недорогого бокала. Наверху, под потолком над антресолями, где я спала на нарах, нависал туман табачного дыма, еще усиливавший ощущение нереальности. Мы плыли в море или, быть может, оказывались среди высоких гор, и я слышала, как гости и отец перекликались меж собой сквозь дымную завесу и как падали разные вещи, а под аккомпанемент тихих звуков балалайки и гитары слабее или сильнее ударялись о берег волны.

Я люблю папины пирушки. Они могут тянуться много ночей подряд, и мне нравится просыпаться и снова засыпать и чувствовать, как убаюкивают меня дым и музыка, а потом вдруг раздается внезапный вопль, пронзающий холодом сквозь тепло, вплоть до самых ступней ног.

Смотреть на все это не стоит, потому что тогда исчезает то, что придумываешь сам. Так бывает всегда. Ты смотришь на них сверху, а они сидят на диване и на стульях или медленно ходят по гостиной.

Кавен, друг отца, художник, сидит, скрючившись над гитарой, словно пытаясь спрятаться в ней, его лысая голова плавает, будто бледное пятно, в тумане, и он опускается все глубже и глубже. Папа очень статный, он смотрит прямо пред собой. Другие иногда спят — от пирушки очень устаешь, но домой они не уходят, потому что важно попытаться заснуть последним. Папа обычно выигрывает пари и засыпает позже всех. Когда все остальные спят, он бодрствует и смотрит и думает до самого утра.

Мама не пирует с ними, она следит за тем, чтобы керосиновая лампа не коптила в спальной. Спальная — это наша единственная настоящая комната, кроме кухни; я имею в виду, что там есть дверь. Но там нет печки. Поэтому керосиновая лампа

горит всю ночь. Если откроешь дверь, то табачный дым проникает в комнату, и у Пера Улофа начинается приступ астмы. С тех пор как у меня появился братик, с пирушками стало гораздо труднее, но папа с мамой пытаются все-таки устроить все самым наилучшим образом.

Самое красивое — это стол. Иногда я встаю смотрю на этот стол через балюстраду и щурюсь, и тогда начинают мерцать бокалы, и свечи, и все вещи, наплывающие друг на друга и составляющие единое целое, как на картине. Цельность — это очень важно.

Некоторые только изображают вещи, забывая о цельности. Я уже знаю совсем немало. Я знаю много такого, о чем не рассказываю.

Все мужчины пируют, и они между собой товарищи, которые никогда друг друга не предают. Товарищ может говорить тебе ужасные вещи, но назавтра все забыто. Товарищ не прощает, он только забывает, а женщина — она все прощает, но не забывает никогда. Вот так-то! Поэтому женщинам пировать нельзя. Очень неприятно, если тебя прощают.

Товарищ никогда не говорит ничего умного, что стоит повторить на следующий день. Он только знает, что уже ничего такого важного нет.

Однажды папа и Кавен играли с пультом, который может запустить аэроплан. Я не думаю, что Кавен понимал, как действует этот пульт, потому что он выстрелил не в ту сторону, и самолет врезался в руку художника так, что пропеллер пробил ее насквозь. Это было ужасно, и кровь залила весь стол, и Кавен не могу даже надеть пальто, потому что самолет не пролезал в рукав. Папа утешал Кавена, он поехал с ним в больницу, где пропеллер отщипнули клещами, а самолет отправили в больничный музей.

На пирушке может случиться все что угодно, если делаешь что-то, прежде не подумав.

Мы никогда не пируем в мастерской, а только в гостиной. Там два высоких сводчатых окна наверху и вся бабушкина и дедушкина мебель из березы с завитушками. Это напоминает маме о стране, где все обстоит так, как должно быть.

Вначале мама очень боялась пирушек и расстраивалась из-за дыр, прожженных сигаретами, и кругов на столе, оставленных бокалами, но теперь она знает, что это патина, которая со временем непременно появляется.

Мама прекрасно устраивает пирушки. Она не выставляет все сразу на стол и никогда не приглашает гостей. Она знает: единственное, что создает настроение — это импровизация.

“Импровизация” — красивое слово. Папе приходится выходить на улицу и искать знакомых. Они могут найтись где угодно и когда угодно. Иногда их нет вовсе. Но чаще они есть. И тогда появляется желание куда-то пойти. Вот они куда-то и причаливают. Это важно.

Потом нам говорят, чтобы мы мимоходом заглянули, нет ли чего-нибудь в кладовке. И ты тихонечко идешь и заглядываешь туда, а там чего только нет! Ты находишь там и дорогие колбасы, и бутылки с вином, и каравай хлеба, и масло, и сыр, и даже воду “Виши”, и несешь все это в комнату. Это и есть “импровизация”. У мамы уже все готово.

Вообще-то вода “Виши” опасна. От нее пучит живот, и от этого становишься очень грустным. Эту воду никогда ни с какой другой смешивать нельзя.

Постепенно свечи на балюстраде гаснут, и стеарин капает на диван в гостиной. После музыки начинаются воспоминания о войне. Тогда я немножко жду под одеялом, но всегда поднимаюсь снова, когда они нападают на плетеное кресло. Папа снимает свой штык, висящий над мешками с гипсом в мастерской, и все вскакивают и орут, и тогда папа нападает на плетеное кресло. Днем оно прикрыто тканым ковром, так что даже не увидишь, какое оно. После нападения на кресло папа больше не хочет играть на балалайке. А потом я только сплю.

Назавтра гости все еще здесь и пытаются говорить мне приятные слова. “С добрым утром, прекрасного дня, милая девица, веселая утренняя звезда”. Мама получает подарки. Руококоски подарил ей как-то четверть килограмма масла, однажды она получила от Саллинена целых два десятка яиц.

Утром очень важно не начинать уборку слишком рано. И если впустить в комнаты печальный свежий воздух, кто угодно может простудиться или прийти в дурное настроение. Важно, чтобы переход к новому дню был очень медленным и ласковым. При дневном свете все видится совсем иначе, и если разница слишком велика, можно все испортить. Нужно мирно расхаживать и ощупывать все своими руками и думать о том, чего тебе, собственно говоря, хочется.

А хочется всегда, каждый день, но ты по-настоящему не знаешь, чего тебе хочется. Но под конец думаешь, что, может, тебе хочется селедки. И тогда ты заходишь в кладовку и смотришь, а там и в самом деле лежит селедка.

Затем день медленно движется вперед, и наступает новый вечер, и, быть может, зажгут новые свечи. Все ужасно боятся друг друга, они ведь знают, как мало нужно, чтобы утратить равновесие и поссориться.

Я ложусь спать и слышу, как папа настраивает балалайку. Мама зажигает керосиновую лампу. У нас в спальной окно — совершенно круглое. Оттуда можно смотреть через все крыши и через гавань, и все окна вокруг становятся черными, кроме одного. Это окно под большим пустым брандмауэром Виктора Эка[6]. Свет горит там всю ночь. По-моему, там тоже пируют. А может, иллюстрируют книги.

АННА

Как прекрасно было смотреть на Анну.

Волосы Анны росли, как жесткая, но сочная трава, они торчали, словно обрубленные, во все стороны, и в них было столько жизни, что просто искры летели. Ее брови были такие же черные и густые, как волосы, и срастались на переносице, нос — плоский, а щеки — очень румяные.

Когда она мыла посуду, ее руки походили на столбы, опущенные в воду. Она была красива.

Когда Анна моет посуду, она поет, а я сижу под кухонным столом и пытаюсь выучить слова ее песни. Я дошла до тринадцатой строфы песни об Яльмаре и Хульде, а собственно говоря, только тогда и начинает что-то происходить.

«И тогда входит Яльмар в ратных доспехах, и арфы поспешно смолкают, взбешенный идет он к вероломной невесте, и невестин венец со светло-каштановых ее волос сильной рукою срывает; бледная, словно на смертном одре, смотрит Хульда со страхом безумным в трепещущей груди на дрожащую от жажды мести руку возлюбленного…»

Тут начинаешь содрогаться от страха, и это так прекрасно. Точь-в-точь как когда Анна говорит: «Выйдите ненадолго, потому что сейчас я заплачу», — это так прекрасно!

Возлюбленные Анны тоже часто являлись в ратном облачении. Больше всего мне нравился драгун в красных штанах и с шитьем на мундире, драгун был такой красивый. Он всегда отставлял свою саблю в сторону. Иногда она падала на пол, и я слышала бряцанье даже наверху, на моих антресолях, и думала о его длинной, дрожащей, отмщающей руке. Затем он исчез, а у Анны появился новый возлюбленный, который был Человеком Мыслящим. Поэтому он ходил на лекции и слушал про Платона и презирал папу, читавшего газеты, и маму, читавшую романы.

Я объяснила Анне, что мама не успевает читать другие книги, кроме тех, к которым она рисует обложки. Ведь ей надо знать, о чем говорится в этой книге и как выглядит героиня. Некоторые художники рисуют так, как они чувствуют, и плюют на писателя. Этого делать нельзя. Иллюстратор должен думать и о писателе, и о читателе, а иногда даже об издательстве.

— Ха-ха! — воскликнула Анна. — Поганое издательство, раз оно не издает Платона. А вообще-то хозяйка все, что она рисует, придумывает сама, а в последней книжке волосы у героини на хозяйкином рисунке не были золотистыми, как должны были быть на самом деле.

— Краски дорогие! — рассердилась я. — И вообще, некоторые книги идут только на пятьдесят процентов с цветными рисунками!

Анне совершенно невозможно было объяснить, что издательству не нравится многоцветная печать и что редакторы только и делают, что болтают чепуху о двухцветной печати, хотя и знают: один цвет во всех случаях должен быть черным, и все равно можно нарисовать волосы так, что они будут казаться золотистыми.

— Вот как! — фыркнула Анна. — А позвольте спросить, какое это имеет отношение к Платону?

Тут я забыла все, что хотела сказать с самого начала. Анна всегда сваливала все в одну кучу и всегда оказывалась права.

Но иногда я мучила ее. Я заставляла ее без конца рассказывать о своем детстве, пока она не начинала плакать, а я, встав у окна, только раскачивалась с пятки на носок и с носка на пятку и смотрела во двор. Или, не переставая, строго спрашивала, почему у нее опухшее лицо и швыряла ей совок с мусором через всю кухню. Я мучила Анну тем, что бывала любезна с ее возлюбленным и сидела, расспрашивая без конца о том, что их вовсе не интересовало, и совсем не собиралась уходить. И еще был один очень хороший способ мучить Анну — это высокомерно-томным голосом сказать: «Госпожа желает к обеду в воскресенье телячье жаркое» — и выйти в тот же миг, словно мне с Анной больше говорить не о чем.

Анна долго мстила мне с помощью Платона. А какое-то время был у нее возлюбленный, который представлял собой Глас Народа, и тогда она мстила мне тем, что рассказывала о старушках-газетчицах, вставáвших в четыре часа утра, пока хозяин лежал и прохлаждался в ожидании газеты «Хувудстадсбладет»[7], Я сказала, что ни одна старушка-газетчица не работала целую ночь, как папа, когда шла отливка гипсовых скульптур для конкурса, да и мама работала каждую ночь до двух часов, пока Анна лежала и прохлаждалась. Тут Анна сказала, не касаясь подробностей, что в прошлый раз хозяин вообще никакой премии не получил! Тогда я закричала: «Это потому, что жюри было несправедливое!» А она закричала, что так легко говорить, а я — что она ничего не понимает, она не художница, а она — что можно задирать нос, когда другой человек не брал даже уроков рисования… После этого мы несколько часов не разговаривали.

Когда же мы вдоволь наплакались, я снова вышла на кухню, и тогда Анна повесила одеяло над кухонным столом. Это означало, что мне разрешено строить под ним дом, если я не буду путаться под ногами на кухне или у дверей кладовки. Я строила дом с

помощью стульев, табуреток и обрубков поленьев. Собственно говоря, я делала это в знак вежливости, потому что гораздо лучше дом получился бы под большим вращающимся шкивом, на котором ваяют скульптуры.

Когда дом был готов, она дала мне немного фарфоровой посуды. Ее я тоже приняла только из вежливости. Я не люблю делать вид, будто готовлю еду. Я ненавижу еду.

Однажды на рынке не оказалось черемухи к первому июня. А маме в день ее рождения черемуха необходима, иначе она умрет. Это предсказала цыганка, когда маме было пятнадцать лет, и с тех пор все ужасно мучились с этой черемухой. Иногда она распускается слишком рано, а иногда слишком поздно. Если ее сорвать в середине мая, края листьев станут бурыми, а цветы так никогда и не распустятся. Но Анна сказала:

— Я знаю, что в парке есть белая черемуха. Мы пойдем и нарвем ее, когда стемнеет.

Стемнело ужасно поздно, но мне все равно пришлось идти с Анной, и мы ни слова не сказали о том, что собирались сделать. Анна взяла меня за руку, ее руки всегда были теплыми и влажными, а когда она двигалась, вокруг нее распространялся какой-то жаркий и немного пугающий запах. Мы пошли вниз по Лотсгатан, потом пробрались в парк, и я совершенно онемела от ужаса и думала лишь о стороже в парке, о городском управлении и о Боге.

— Папа никогда бы этого не сделал, — сказала я.

— Нет, потому что хозяин слишком буржуазен, — ответила Анна. — Берут то, что нужно, вот так-то.

Мы перелезли через забор раньше, чем до меня дошло то неслыханное, что она сказала, — будто папа буржуазен.

Анна подошла прямо к белому кусту посреди лужайки и стала рвать черемуху.

— Ты рвешь неправильно! — зашипела на нее я. — Рви правильно!

Анна, очень прямая, стояла в траве, широко расставив ноги, и смотрела на меня. Она засмеялась всем своим широким ртом так, что стали видны ее белые зубы все до единого. Снова взяв меня за руку, она присела на корточки, и мы пробрались под кустами и стали тихонько красться. Мы подкрались к другому белому кусту. Анна все время смотрела через плечо и иногда останавливалась за каким-либо деревом.

— Этот куст лучше? — спросила она.

Я кивнула и пожала ее руку. Она начала рвать цветы. Она протягивала вверх свои громадные ручищи так, что платье обтягивало всю ее фигуру, и смеялась, и ломала ветки, и цветы

дождем сыпались на ее лицо, а я шептала: «Кончай, кончай, хватит!» — и была вне себя от страха и восхищения.

— Уж если красть, так красть, — спокойно ответила она.

В ее руках была огромная охапка черемухи, она ложилась ей на шею и плечи, и Анна крепко держала цветы своей большой красной рукой. Мы снова перелезли через забор и пошли домой, и никто — ни сторож из парка, ни полицейский — так и не появился.

Потом она сказала, что мы обобрали весь куст, который оказался вовсе не черемухой. Он был просто белым. Но все обошлось, мама не умерла.

Иногда Анна становилась просто бешеной и кричала:

— Не могу тебя видеть! Уходи!

Тогда я выходила во двор, садилась на помойный бак и жгла полоски кинопленки с помощью увеличительного стекла.

Я обожаю запахи. Запахи горящей кинопленки, и жары, и Анны, и ящика с глиной, и маминых волос, и пирушки. У меня у самой еще никакого запаха нет, так я думаю.

Летом Анна пахла иначе, тогда она пахла травой и еще чем-то более теплым. Она чаще смеялась, и ее большие руки и ноги становились еще заметнее.

Анна замечательно умела грести. Один-единственный взмах весла, и она уже ликующе отдыхает на веслах, а лодка скользит вперед по проливу так, что вечерняя вода просто закипает. Потом еще один взмах весла — и снова вода закипает, подтверждая, как сильна Анна. Затем, громко хохоча, она окунает одно весло в воду так, что поворачивает лодку, показывая, что у нее нет желания плыть куда-то и она просто резвится.

В конце концов Анна пускала лодку по воле волн, лодка дрейфовала, а она ложилась на дно и пела. И тогда и в Вике, и на Рёдхольмене все слышали, как она поет на закате, и знали, что там, в лодке, лежит Анна, большая, и веселая, и теплая, и ни до чего на свете ей дела нет. Этого ей только и хотелось.

Она переходила на другую сторону холма и медленно покачивалась всем телом, а иногда срывала цветок. Анна пела и когда пекла. Она раскатывала тесто, и колотила его, и гладила, и придавала ему форму, и бросала свои булочки в печь так, что они попадали прямо на противень, а потом гремела крышкой духовки, потягивалась и кричала: «О-хо-хо! До чего же жарко!»

Я люблю Анну летом и никогда ее в это время не мучаю.

Иногда мы ходим в Алмазную долину. Это берег, где все камни круглые и драгоценные и очень нежного цвета. Они красивее под водой, но если натереть их маргарином, они красивые всегда. Мы ходили туда, когда мама с папой работали в

городе, и, набрав довольно много алмазов, садились у ручья, который спускается вниз с горы. Он течет только в начале лета и осенью. И тогда мы устраивали водопады и плотины.

— В ручье есть золото, — говорила Анна. — Посмотри!

Но никакого золота я не видела.

— Надо положить его туда, — сказала Анна. — Золото в бурой воде выглядит удивительно. И его становится там еще больше. Все больше, больше и больше золота.

И вот я отправилась домой и взяла все золото, какое у нас было, а вдобавок еще жемчуг, и положила все это в ручей, и там стало в самом деле удивительно красиво.

Анна и я лежали и слушали, как течет ручей, и она запела песню «Невеста Льва». Она влезла в воду и вытащила пальцами ног мамин золотой браслет, затем снова опустила его в воду и засмеялась. А затем сказала:

— Я всегда мечтала о настоящем золоте.

На следующий день все золото исчезло и жемчуг тоже. Мне показалось это очень странным.

— С ручьями никогда ничего не известно, — сказала Анна. — Иногда золота становится больше, а иногда оно уходит прямо в землю. Но оно снова появляется, если никогда об этом не говорить.

И мы пошли домой и стали жарить блины.

Вечером Анна встретилась со своим новым возлюбленным у городских качелей. Он был Человеком Действия и мог вертеть качели кругами, и единственный, кто осмеливался высидеть целых четыре оборота, была Анна.

АЙСБЕРГ

Лето наступило так рано, что его можно было бы назвать почти весной, поэтому оно оказалось настоящим подарком, и ко всему, что бы ты ни делал, можно было относиться иначе. Стояла пасмурная и очень тихая погода.

Мы с нашим багажом выглядели так же, как обычно, и Каллебисин, и лодка Каллебисина тоже, но берега казались совсем голыми, а море — суровым. Когда же мы подплыли к Нюттисхольмену, нас встретил айсберг.

Ослепительно бело-зеленый он явился, чтобы встретить меня. Раньше я никогда не видела айсбергов.

Теперь все зависело от того, скажут ли что-нибудь взрослые. Если только они скажут хоть одно-единственное слово об айсберге, он уже больше не мой.

Мы подплывали все ближе и ближе. Папа отдыхал на веслах, но Каллебисин, продолжая грести, сказал:

— Раненько он нынче…

И папа, продолжая грести, ответил:

— Да. Он поднялся на поверхность не так давно.

Мама не сказала ни слова. Но ведь можно считать, будто они в самом деле не говорили об айсберге, и значит, айсберг мой. Мы проплыли мимо, но я не обернулась, чтобы посмотреть на него — тогда они могли бы сказать что-нибудь еще. Я только думала о нем всю дорогу, пока мы плыли вдоль берега Бакланда. Мой айсберг был похож на сломанную крону. С одной стороны виднелся овальный грот, очень зеленый и забранный решеткой из льда. Внизу в воде лед был тоже зеленого цвета, но только другого оттенка; он уходил глубоко в бездну и становился почти черным там, где начиналась опасность. Я знала, что айсберг последует за мной, и ни капельки не беспокоилась.

Весь день просидела я на берегу, дожидаясь его в заливе. Настал вечер, но айсберг еще не успел появиться. Я ничего никому не сказала, и никто ни о чем меня не спрашивал. Взрослые распаковывали вещи.

Когда я легла спать, поднялся ветер. Я лежала под одеялом и была Ледяной девой[8] и слышала, как дул ветер. Важно было не заснуть, но я все-таки заснула, а когда проснулась, в домике стояла мертвая тишина. Тогда я поднялась, оделась, взяла папин карманный фонарик и вышла на крыльцо.

Ночь была светлая, но это была моя первая ночь в одиночестве вне дома, и, чтобы не бояться, я все время думала об айсберге. Я не зажгла карманный фонарик. Ландшафт был так же

серьезен, как прежде, и похож на иллюстрацию, где в виде исключения правильно набраны серые тона. В море вели бурную жизнь морянки[9], они пели друг другу брачные песни.

Еще прежде, чем спуститься на прибрежный луг, я увидела айсберг. Он ждал меня и светился так же красиво, но очень слабо. Он стоял, опираясь на гору возле мыса, а там было очень глубоко, нас разделяла черная бездна воды и неопределимое точно расстояние. Если подумаешь, что оно чуть меньше, прыгнешь дальше. А если решишь, что оно чуть больше, можно представить себе, что будет… такая жалость — но с этим никому не справиться.

Однако я должна решиться… И это ужасно.

Овальный грот с решеткой был обращен к суше, а грот был такой же величины, как я. Он был устроен для маленькой девочки, которая подняла бы вверх колени и обхватила их руками. Карманному фонарику там тоже нашлось бы место.

Я растянулась во всю длину на склоне горы, вытянула руку и отломила одну из ледяных сосулек на решетке. Она была такая холодная, что казалась горячей. Я держалась за решетку из льда обеими руками и чувствовала, как она тает. Айсберг медленно, словно дохнув на меня, шевельнулся — он пытался приблизиться ко мне.

У меня начали мерзнуть руки и живот, и я поднялась на ноги. Грот был точь-в-точь такой же величины, как я, но я не смела прыгнуть туда. А если не посмеешь сделать это сразу, то не осмелишься никогда.

Я зажгла карманный фонарик и кинула его в грот. Он упал на спинку и осветил весь грот так красиво, как я и ожидала. Айсберг стал словно светящийся аквариум ночью, он стал словно ясли Вифлеема[10] или самый большой в мире изумруд! Он стал так невыносимо прекрасен, что мне необходимо было немедленно избавиться от него, отправить его в путь, сделать что-то! И вот я, надежно усевшись, уперлась обоими ботинками в айсберг и толкнула его что есть сил. Он не шевельнулся.

— Убирайся! — крикнула я. — Отчаливай!

И тогда мой айсберг очень медленно заскользил, удаляясь от меня, и ветер с суши подхватил и погнал его. Я замерзла, мне стало больно от холода, я видела, как айсберг, взятый в плен ветром, направил свой путь к проливу, ему предстояло въехать прямо в море с папиным фонариком на борту, и морянки надорвут горло своими песнями, когда увидят, как приближается ярко освещенный свадебный павильон.

Так я спасла свою честь.

На лестнице я обернулась и посмотрела: мой айсберг все

время светился внутри, словно огонь маяка, а батарейки фонарика будут гореть даже до восхода солнца, потому что, когда мы переезжаем на остров, они всегда новые. Может, их хватит еще на одну ночь, может, карманный фонарик будет светиться сам по себе внизу, на дне морском, когда айсберг растает и превратится в воду.

Я легла и натянула на голову одеяло, ожидая, что согреюсь. И я согрелась. Мало-помалу тепло спустилось даже к ногам. Но все-таки я оказалась трусихой, трусихой примерно сантиметров на пять. Я чувствовала это в животе. Иногда я думаю, что все сильные чувства начинаются в животе. По крайней мере для меня.

МОРСКИЕ ЗАЛИВЫ

Домик — серый, и небо, и море тоже серые, и луг — серый от росы. Время — четыре часа утра, и я выиграла целых три часа, которые очень важны и на которые рассчитываешь. А может, три с половиной.

Я научилась узнавать время, читать на часах, хотя читать минуты еще не умею.

Я тоже светло-серая, правда изнутри, потому что я в полной нерешительности плыву, как медуза, и ни о чем не думаю, а только чувствую. Если проплыть на лодке сотню миль[11] по морю и пройти сотню миль по лесу, все равно не найдешь ни одной маленькой девочки. Их там нет, я слышала об этом. Можно ждать тысячу лет, а их все нет и нет. Та, что больше похожа на девочку, — это Фанни, которой семнадцать лет и которая собирает камни, и ракушки, и дохлых животных, и поет, перед тем как пойдет дождь. Она желто-серая, того же самого цвета, что и холм, и лицо, и руки — все у нее желто-серое и сморщенное, но волосы ее белые, а глаза — бело-голубые и смотрят мимо тебя.

Фанни — единственная, кто не боится лошадей. Она кричит и поворачивается к ним спиной, она делает все, что хочет. Если кто-нибудь просит ее помыть посуду не по-доброму, она уходит в лес, остается там много дней и ночей и поет, пока не накличет дождь.

Она никогда не бывает одна.

Есть пять заливов, где никто не живет. Если обойти кругом первый, то придется обойти и остальные. Первый — широкий и битком набит белым песком. Там есть пещера с песчаным дном. Стены ее всегда мокрые, а в потолке трещина. Пещера длиннее, чем я, когда лежу на спине, а сегодня она холодна как лед. В самой глубине пещеры узенькая черная норка.

И вот мой таинственный друг вылезает из этой норки.

Я сказала:

— Какое прекрасное, какое очаровательное утро!

А он ответил:

— Это утро не обычное, потому что я слышу, как кто-то бормочет за горизонтом!

Он сидел за моей спиной, и я знала, что шкурка его полиняла и он не хочет, чтоб на него смотрели. И я совершенно равнодушно сказала:

— В пятницу тоже бормотали. Ты видел Фанни?

— Перед сумерками она сидела на рябиновом дереве, — ответил он.

Но я знала, что Фанни неохотно лазает на деревья и что мой

друг пытается лишь произвести на меня впечатление. Так что я ничего не сказала, пусть остается при своем… Приятно быть в обществе. Когда он заметил, что я не желаю разговаривать, он немножко поиграл мне. В пещере стоял ледяной холод, и я решила уйти, как только он кончит играть. Так что после последней ноты я сказала:

— Это был приятный визит. Но мне кажется, пора, к сожалению, прервать его. Как дела дома?

— Очень хорошо, — ответил он. — Моя жена родила пятерых детишек. Все — девочки.

Поздравив его, я пошла дальше.

Когда солнце встает, вода в первом заливе покоится в тени лесных деревьев, а у самого притока скалы — красные. Тростник светится только по вечерам. Ты идешь, идешь и идешь, и вдруг начинает дуть утренний ветер. Другой залив, тот, что весь зарос и буквально набит тростником, шелестит, когда над ним проносится ветер. Ветер шумит, что-то шепчет и медленно, мягко-мягко свистит, и ты входишь прямо в заросли тростника, и тебя осыпают ласками со всех сторон, а ты идешь и идешь и вообще ни о чем не думаешь. Тростник — это джунгли, которые тянутся до самого края земли. Над всей землей ровно ничего нет, кроме шепчущего тростника, и все люди вымерли, а ты — единственная, кто есть на свете, и только все идешь и идешь в зарослях тростника.

Я иду так долго, что становлюсь длинной и тонкой, как травинка, а волосы мои превращаются в мягкую метелку какого-то растения, и в конце концов я пускаю корни и начинаю шуршать, и шелестеть, и шуметь, как все мои сестры-тростинки, и время никогда не кончается.

Но в глубине залива засел громадный лоцман, и он говорит:

— Хо-хо! Хо-хо! Думаю, подул западный ветер. У лоцмана рыжие усы Чельгрена и голубые глаза Шёблума[12], на нем лоцманская форма, и наконец-то он замечает меня.

Задрожав от радости, я отвечаю:

— Я бы сказала, девять beaufort[13], если не больше. Нельзя ли выпить стаканчик?

— Ну да ладно, раз уж приходится растрачивать здесь свою водку, — отвечает он и протягивает мне свой стакан.

Я наливаю водки и пять раз выпиваю по стакану.

— Ну а что ты думаешь о сиге зобатом? — продолжает он.

— Он поднимется наверх, — говорю я. — Если этот ветер удержится…

Он задумчиво и оценивающе кивает.

— Да-да, — говорит он. — Да-да. Это, вероятно, так и будет.

Мы выпиваем шесть литров самогона и два ведра кофе, что пьют в день летнего солнцестояния, после чего я говорю:

— Думаю, худо нынче проводить суда среди шхер.

— Может быть, может быть, — отвечает он.

А потом я уже не могу его дольше задерживать.

Печально, когда видения становятся туманными, расплывчатыми и исчезают. Рассказываешь о них или нет, они все равно исчезают. Продолжать говорить тогда не стоит, потому что это становится просто смешно и чувствуешь себя одинокой.

Но вот появляется третий залив.

Именно там мы с папой и нашли наши первые бидоны. Это был великий день, который никто из нас не забудет до самого конца своей жизни.

Папа сразу увидел, что это такое. Он весь одеревенел, и у него вытянулась шея. Он влез на камни и начал вытаскивать мешок. Мешок был старый и прогнивший, но внутри звенели бидоны, и папа спросил:

— Слышишь? Слышишь этот звук?!

Мы нашли четыре бидона с девяносто шестью десятыми литра в каждом. О папа, папа!

И как раз тогда и прибежало семейство Хэрбергов и столпилось возле мыса. Мы распластались за камнями, совсем близко друг к другу. Я держала папу за руку. Хэрберги тащили каждый свой перемет и ровно ничего не замечали. Папа и я стояли на страже до тех пор, пока опасность не миновала, и тогда мы спрятали все бидоны в тростнике.

Я всегда сижу тихо-тихо в третьем заливе, чтобы почтить там нашу с папой встречу и нашу великую тайну.

Солнце поднялось выше и приняло свой обычный вид. Становится все труднее найти какое-нибудь общество, люди бывают здесь лишь ранним утром и в сумерках. Но это все равно. Вместо общения я могу дремать и вспоминать о том, что было.

Я вспоминаю, как мы с папой шли по лесу со штормовым фонарем в руках, чтобы забрать домой корзины с грибами.

Днем вся наша семья собирала грибы. Папа повел нас к настоящим прогалинам, к своим грибным местам, где росли целые колонии грибов. Сам он их не собирал, он только зажег трубку и сделал жест рукой, означавший: «Пожалуйста, все мое семейство, вот вам прекрасная снедь».

Мы собирали и собирали грибы без конца. И не как попало. Грибы были важны для нас, важны почти так же, как рыба. Они означали сотню завтраков в течение всей зимы. Под каждым грибом таинственные грибницы — мицелии, и грибное место надо сохранять во веки вечные и для грядущих поколений, и это

наш гражданский долг — добывать еду для своей семьи летом и уделять внимание природе.

Ночью бывает иначе. Мы с папой несем домой те корзины, которые не смогли унести днем. Тогда должно быть темно. Нам не нужно экономить керосин, мы просто швыряемся деньгами. И папа всегда находит дорогу. Иногда дует ветер и деревья скрипят друг на друга, издавая ужасающие звуки. Папа находит дорогу. Корзины с грибами стоят там, где их оставили, и он говорит:

— Черт побери! Смотри, там они и стоят!

Самые красивые грибы лежат сверху. Папа подбирает их по цвету и форме, потому что грибы — это его букеты. Такие же букеты он составляет из рыбы.

Однажды папа поставил свою корзину с грибами на вершине холма и пошел за своим семейством. А корова Роза тем временем все съела. Она знала, что на папу можно положиться и что ни одного ядовитого гриба в его корзине нет.

Теперь ветер дует все время. Четвертый залив — далеко-далеко. Я иду через лес, нарисованный Ионом Бауэром[14]. Он умел рисовать лес, а с тех пор как художник утонул, никто больше не осмеливался его рисовать. А тех, кто осмеливается, мы с мамой презираем.

Чтобы лес стал на рисунке достаточно большим, нельзя рисовать верхушки деревьев без всякого неба. Надо рисовать одни лишь прямые, очень толстые стволы, которые поднимаются ввысь. Земля — это мягкие холмы, что уходят все дальше и дальше и становятся все меньше и меньше, пока лес не покажется бесконечным. Камни тоже есть, но их не видно. Тысячу лет зарастали они мхом, и никто не потревожил его.

Если ступишь ногой в мох один раз, то образуется глубокая дыра, которая не исчезает целую неделю. Если ступишь туда еще раз, твоя дыра останется навечно. Если в третий раз ступишь в мох, это смерть.

В правильно нарисованном лесу все примерно одного и того же цвета — мох, стволы деревьев и ветки елей, все — какое-то мягкое и серьезное, а иногда в лесной чаще мелькает посредине что-то серое, и бурое, и зеленое, но зелени очень мало. Если хочешь, сажаешь, например, в лес принцессу. Она всегда в белом и очень маленькая, и у нее длинные золотистые волосы. Ее лучше поместить в самом сердце лесной чащи или в золотом сечении. Когда Ион Бауэр умер, принцессы стали современными и любого цвета, какого только захочешь. Они стали просто обыкновенными, пышно разодетыми девочками.

Это — четвертый залив, большой Мертвый залив, который переплывал поросенок. Поросенок был громадный и пахнул

ужасно. Иногда я думаю, что он был жуткого иссиня-красного цвета и что глаза его шевелились, пока он не разбился о камни, но я в этом не уверена и не смею даже думать об этом.

В большом Мертвом заливе никого не встретишь и никого не припомнишь. Это место ужасных картин, что приходят с моря.

Сперва появляются птицы. Их видишь на горизонте, словно скопление темных облаков. Оно все поднимается и растет.

Это большие серые птицы длиной в десять метров, и летят они жутко медленно. Крылья их похожи на рваные пальмовые листья, они взъерошены и растрепаны ветром; тысяча громадных птиц парит в небесах, отбрасывая тень на землю. Ни одна из них не издает ни звука.

Если бы вдруг настало утро, когда солнце бы не взошло! Если бы случилось так, что мы проснулись, как обычно, а папа посмотрел бы на часы и сказал: «Опять идут неправильно. Часы, черт побери, остановились!» Мы попытались бы заснуть, но не тут-то было. Папа попробовал бы включить радио, но оно только завывало бы. Тогда мы вышли бы посмотреть, не случилось ли чего-нибудь с антенной. Но все было как обычно. Другая антенна по-прежнему висела на березе. Было восемь утра, но стояла жуткая темень. Поскольку мы совсем проснулись, мы, конечно, выпили бы кофе. Фанни сидела бы на заборе и пела великую Песнь Дождя.

Вот уже девять, и десять, и одиннадцать, и двенадцать часов, но солнце не всходит, стоит сплошная темнота. Тогда папа говорит, что теперь что-то не то, и идет к Каллебисину немного поболтать. Каллебисин сказал, что дело, верно, идет к перемене погоды. Такого еще на людской памяти и не припомнишь.

Стояла такая же тишина, как во время затемнения. И было холодно. Мама занесла дрова и зажгла плиту. Настало два часа, и три, и четыре. Было семьдесят пять минут седьмого. И тогда мама сказала: «У нас есть два пакета свечей и три литра керосина. Но что будет с нами дальше, я не знаю».

И вот именно тогда-то и началось бормотание за горизонтом.

Хорошенькая была история. А вот еще одна.

Однажды вечером, как раз перед самыми сумерками, мы услыхали слабый звук, словно кто-то полоскал горло. Когда мы вышли из дома, то увидели, что море вжалось, сползло на пять метров вниз само в себя, а все берега — зеленые и илистые. Лодки задохнулись в своих причальных канатах. Окуни, как сумасшедшие, прыгали в болоте. Все пустые бутылки и консервные банки стыдливо выползли из моря. Море продолжало опускаться. Что-то пузырилось у небольшого Каменного островка, когда море соскользнуло в тресковую заводь. Море сползало все

дальше и дальше вниз, туда, где лежат сотни старых скелетов и дохлых поросят и вещей, которые не принято называть.

Неназываемые вещи. Хуже быть не может. Мне внезапно все опротивело.

Можно прыгать с одного камня на другой. То есть надо скакать очень быстро и только на одну-единственную секунду касаться каждого камня. Никогда не ступать ни на берег, ни в тростник, только на камни, и все быстрее и быстрее. В конце концов ты превращаешься в ветер, ты — ветер, и в ушах свистит, и все вычеркнуто и ушло, остался один лишь ветер, а ты все прыгаешь, и прыгаешь, и прыгаешь. Я всегда прыгаю правильно, я уверена и сильна, а теперь я приближаюсь, подпрыгивая, к последнему морскому заливу, который мал и красив и при этом — мой собственный. Здесь есть дерево, на которое можно взбираться, дерево с ветвями до самой верхушки. Ветви похожи на лестницу Иакова[15], а на верхушке сосна сильно раскачивается, потому что теперь дует с юго-запада. Солнце успело взойти до утреннего кофе.

Если даже тысяча маленьких девочек пройдут под этим деревом, ни одна из них не сможет даже заподозрить, что я сижу наверху. Шишки — зеленые и очень твердые. Мои ноги — загорелые. И ветер раздувает мои волосы.

МОРСКОЕ ПРАВО

Если вода поднимается, значит, быть шторму. Если она опускается очень быстро и низко, — тоже может случиться шторм. Ободок вокруг солнца может быть опасен. И солнечный закат в дымчатых темно-багровых красках не предвещает ничего хорошего. Есть еще много другого, но именно сейчас я этим не интересуюсь. Не все ли равно, не одно, так другое…

В конце концов, папа был уже не в силах успокоиться и пустился в путь на лодке. Он укрепил рангоут[16] и сказал:

— Подумать только! В лодке любая вещь когда-нибудь да пригодится!

Мы сидели тихо. Читать нам не позволяли, — это значит презирать лодку. Ничего не должно было свисать сзади, ни лини[17], ни лодочки из бересты, потому что лоцманы могли их увидеть. Мы ловко обошли риф, не слишком потеснив его, потому что это кажется вызывающим, и не слишком отклоняясь в сторону, так как подобный маневр производит впечатление осторожности и лоцманы могут тоже это увидеть. И только после этого пустились в путь.

Есть множество вещей, которых следует опасаться. Носовой фалинь[18] может запутаться в ногах и упасть за борт. Бывает, что, высаживаясь на берег, поскользнешься и разобьешь голову, да еще утонешь. А если держишься слишком близко к берегу, тебя может засосать. Если же заплывешь слишком далеко, тебя занесет в тумане в Эстонию. В конце концов сядешь на мель и тогда… ха-ха-ха! Но хотя папа все время думает обо всем, что может произойти, он любит высокие волны, в особенности если они несутся с северо-запада и становятся длинными-предлинными. Все идет точь-в-точь, как он сказал: поднимается ветер и дует все сильнее и сильнее. Так что теперь папе больше нечего волноваться, и пока дует ветер, папа может быть весел и спокоен.

— О горе, о горе, пленительная дева, теперь нам никогда не вернуться назад…

Мы живем под рангоутом на острове Туннхольмен, и ветер дует только все сильнее и сильнее.

Хэрмансоны и Шёберги приплывают чуточку позднее. У них нет детей. Они поднимают свои паруса на ночь рядом с нашим. А потом нас принялся обдувать ветер. Все фру[19] бегали вокруг и приводили все в порядок, а господа мужчины катили большие камни и что-то друг другу кричали и поднимали лодки как можно выше. Когда настал вечер, мама закутала меня в одеяло. Под парусом виднелся треугольник берега, поросшего вереском, и

буруны, и небо, становившееся то больше, то меньше, когда парус трепало ветром. Всю ночь господа мужчины ходили внизу по берегу и проверяли, все ли так, как должно быть. Они тянули лодки и измеряли уровень воды и обсуждали, какова сила ветра на мысу. Иногда заходил папа — посмотреть, на месте ли мы, и рассовывал нам по карманам хрустящие хлебцы. Он смотрел на меня, зная, что я так же сильно люблю шторм, как и он.

На следующее утро мы нашли моторную лодку. Она лежала брошенная и билась о камни, два борта ее раскололись, и она наполовину заполнилась водой. И никаких весел у хозяев лодки с собой не было. Они даже не пытались спасти свою посудину с опасностью для жизни. Я всегда говорила: на мотор полагаться нельзя, он только мешает, стопорит движение. И те, кто пускаются в море, могли бы чуточку подучиться морской науке. В жизни своей не видели они рангоута, и покупают лодки со свиными хребтами, и позволяют им рассыхаться на берегу и не смолят их, так что это просто позор всему нашему обществу.

Мы постояли, недолго глядя на лодку, а потом поднялись прямо на берег и заглянули в заросли ивняка за прибрежными скалами, и там под кустами, насколько хватало глаз, и было все это… десятилитровые бидоны, как один сплошной ковер из серебра, а чуть повыше — под елями — бутылки коньяка.

— Не-а! — сказал папа. — Не-а! Этого не может быть!

Все господа мужчины помчались туда, а фру отправились за ними, последними же шагали как можно быстрее и мы с мамой.

С подветренной стороны стояли папа с Хэрмансоном и разговаривали с тремя насквозь промокшими стариками, которые поедали наши бутерброды.

Чуть поодаль остановились фру и Шёберг.

Потом папа подошел к нам и сказал, как нам дальше поступить:

— Хэрмансон и я поплывем с потерпевшими, потому что они три дня, гонимые ветром, дрейфовали в море без крошки съестного и на ногах не держатся. И если все сойдет хорошо, каждой семье достанется по четыре бутылки коньяка и по три бидона. Шёберг не может плыть с нами из принципиальных соображений, так как он — таможенник.

Мы сидели рядом, глядя, как они отплывали. Иногда на воде виднелся лишь след лодки, а иногда и вовсе ничего.

Фру Шёберг, посмотрев на господина Шёберга, сказала:

— Подумай как следует, что ты делаешь…

— Я непрерывно думаю об этом, — ответил он. — Считаешь, мне это легко? А теперь я надумал: я закрою на это глаза, но не возьму ни одного бидона и ни одной бутылки. Вообще-то я в

отпуске и я не отвозил их. И они съели мои бутерброды. Янссон, вероятно, поймет все, что я решил.

Когда, промокшие насквозь, вернулись папа и Хэрмансон, они тотчас поднялись на берег забрать бидоны. Но они взяли только свои, а Шёберг вообще не взял ничего, так как хотел быть лояльным по отношению к береговой охране.

— Но они ведь обещали по три бидона, — напомнила фру Хэрмансон. — И по четыре бутылки коньяка!

— Обещали, пока были напуганы, — ответил папа.

— Когда мы высадили их на берег, они изменили свое обещание и дали по одному бидону на семью.

— Значит, бидонов у нас — три, — сосчитала фру Хэрмансон. А то, что предназначалось Шёбергам, мы можем ведь поделить между собой.

— Это было бы неверно, — сказал папа. — Здесь — вопрос принципа. Два бидона — и точка. А кроме того, сама поездка кое-чего стоила! Женщинам этого не понять.

К вечеру ветер на юго-западе стих, и мы поплыли по домам, каждый в свою сторону. А бидоны остались лежать в болоте. Мы не произнесли ни слова, мы молчали.

Есть люди, которые продают найденные ими бидоны с большой прибылью. У этих людей нет своего стиля и принципов. Кое-кто гребет с бидонами прямо к береговой охране. Так случилось однажды в Перно.

Купить бидон, да еще втридорога, — значит обмануть государство, так делать нельзя. Единственно правильный поступок — найти бидон, а еще лучше — спасти его с опасностью для жизни. Такой бидон приносит только радость и не мешает никаким принципам.

Но выброшенная течением на берег или дрейфующая лодка — нечто совсем иное. Лодки — дела серьезные. Тут нужно искать и искать без конца их владельцев, даже если потребуются годы на их поиски. То же самое и с сетями, которые унесло течением. Их надлежит вернуть владельцам. Все остальное — бревна, и доски, и крепежный лес[20], и пробки, и поплавки для сетей, и буйки — можно забрать себе.

Но самое худшее, что только можно сделать, — это присвоить себе пиратскую добычу, которая уже припрятана. Это — непростительно! Если она поднята на камень или собрана в груду с двумя камнями сверху — добыча неприкосновенна. Можно обезопасить ее двумя камнями, но еще лучше — тремя. Можно, конечно, надеяться, что она попала туда случайно. Есть люди, которые присваивают чужую добычу или, что еще хуже, — забирают самое лучшее в каждой из находок. Это достаточно

хорошо известно. Если ты спас, вытащив из воды, какую-то планку, об этом все равно узнают. А часто точно знают, и кто там был. Но ты потом ничего не говоришь, так как это нетактично, да и кто просил тебя класть для сохранности камни, вместо того чтобы отвезти все домой в два рейса?

Очень тонкое дело — определить, что правильно, а что неправильно. Можно много говорить об этом. Если, например, лодка приплывает со шкафом, а шкаф полон бидонов, то совершенно ясно, что надо искать владельца лодки, и он сам забирает шкаф, если дело чистое. Но сколько можно забрать бидонов?

Большая разница между бидоном в лодке, или в зарослях, или в воде, и в шкафу, который погрузили в лодку.

Однажды я нашла берестяную лодочку, которая называлась «Darling»[21]. Она была очень красиво сделана: с трюмом, рулем, рулевой рубкой, и матерчатыми парусами. Но папа сказал, что владельца ее мне искать не следует.

Может статься, все это не очень важно, если только найденная вещь — достаточно мала. Так думаю я.

АЛЬБЕРТ

Альберт на год старше меня, если не считать шести дней. Через шесть дней мы станем ровесниками.

Он сидел у залива, где пришвартованы лодки, и насаживал на длинную удочку уклеек для своего папы.

— Ты сначала убей их, — сказала я. — Ужасно всаживать в них крюк, пока они живы!

Альберт слегка приподнял одно плечо, и я уже знала, что это означает своего рода и извинение, и объяснение, мол рыбе больше нравится, если наживка шевелится.

На Альберте был блеклый-преблеклый свитер и черная фуражка с козырьком, оттопыривавшая ему уши.

— А тебе понравилось бы, если бы тебе воткнули крючок в спину? — спросила я. — Ты висел бы на нем, и орал, и пытался бы высвободиться в ожидании, что тебя вот-вот съедят!

— Они не кричат. И так всегда все делают.

— Ты — жестокий! — закричала я. — Ты делаешь ужасные вещи! Не желаю больше говорить с тобой! Он чуточку грустно взглянул на меня из-под козырька и произнес:

— Ну, ну!

И продолжал насаживать на удочку уклеек. Я ушла. У сарая с сетями я обернулась и закричала:

— Мне столько же лет, сколько тебе, мнестолькожелетсколькотебе!

— Наверное, столько же, — ответил Альберт. Я ушла и принялась приколачивать гвозди к плоту, но весело мне не было. Три гвоздя искривились, и вытащить их я не смогла.

Тогда я снова спустилась вниз на берег и сказала:

— Рыбы страдают так же, как и люди!

— Не думаю, — ответил Альберт. — Они более низшие существа.

Я сказала:

— Этого никто не знает! Подумать только, а что, если деревья страдают тоже. Их спиливают, и они кричат, хотя ничего не слышно. Цветы кричат, когда их срывают, хотя кричат совсем немножко!

— Разве? — произнес Альберт.

Он произнес это дружелюбно, но все-таки чуточку покровительственно, и это меня снова рассердило.

День выдался скверный! Он был чуть туманный и жаркий, так что одежда прилипала к телу. Я влезла на крышу, чтобы немножко развеселиться, и сидела там очень долго. Я видела, как

Альберт вместе с Каллебисином вышли в море с переметом. На горизонте залегла гряда туч: такая грязная с виду, она тянулась от самого конца островка Туннхольмен до Бисабалля, а море казалось совершенно блестящим.

Потом Альберт с Каллебисином вернулись и вытянули на берег лодку.

Через некоторое время я услыхала, как Альберт стучит молотком на плоту. Я спустилась по лесенке вниз, подошла к нему и стала смотреть. «Ты хорошо приколачиваешь гвозди», — сказала я ему. Тогда он стал еще сильнее стучать молотком так, что вколачивал гвоздь с пяти ударов. Я почувствовала себя гораздо лучше. Усевшись в траву, я смотрела на Альберта и считала вслух удары молотка. Один гвоздь вошел в доски плота после четвертого удара. Тогда мы оба засмеялись.

— Сейчас же спустим его на воду, — сказала я. — Сию минуту. Сделаем настил, и спустим плот на воду.

Мы принесли две доски, положили поперек крепежный лес и втащили его на плот. Он был тяжелый, и трещал, и гнулся, но мы все-таки спустили плот с берега.

А потом оставалось лишь поплыть. Плот погрузился в воду и скользнул в залив. Он хорошо держался на воде. Альберт сходил за веслами, и мы пошли вброд, а потом подтолкнули плот для скорости и быстро забрались на него. Плот слегка залило водой, но совсем немного. Мы посмотрели друг на друга и снова рассмеялись.

Гребли мы медленно, но все-таки гребли. Плыли мы там, где глубоко, но это было неважно, так как мы уже почти научились плавать. Мало-помалу мы вышли в пролив у Хэльстена.

— Поплывем к Песчаной шхере, — предложила я.

— Уж и не знаю, — ответил Альберт. — Наползает туман.

Но я продолжала грести, и мы очень медленно подплыли к Песчаной шхере. Отталкиваясь шестом, мы прошли вдоль берега и обогнули мыс.

Море было все таким же блестящим, а гряда туч поднялась и протянулась аж до самой Яичной шхеры. Показав на тучи, Альберт повторил, что наползает туман.

Тогда мы отправились было домой.

— Неужели ты боишься легкого тумана? — спросила я.

Мы проплыли совсем немного, а потом повернули назад.

— Я точно не знаю, — ответил Альберт. Но я закричала:

— Ты — трус!

И тогда он стал грести снова, и плот продолжил свой путь в открытое море. Мы словно путешествовали по черному зеркалу. Словно стояли на поверхности моря. Всем телом ощущалась

мертвая зыбь, и ты будто колыхался вместе с нею. Мертвая зыбь шла с юго-запада и двигалась дальше к Яичной шхере.

А вот и туман!

— Теперь уж мы повернем назад! — строго сказал Альберт. На миг стало холодно, и вот уже нас плотно обволокло туманом, отгородившим плот со всех сторон от мира. Сверкающая мертвая зыбь выкатилась из тумана и заползла под бревна, словно какое-то разбухшее существо, и снова выкатилась в туман по другую сторону плота.

Я мерзла и ждала, когда Альберт скажет: «Ну что я говорил?» или «Говорил я тебе?..» Но он молчал и только озабоченно работал веслами. Он то и дело поворачивал то туда, то сюда голову, прислушивался, смотрел на мертвую зыбь и держался подальше от нее. Через некоторое время он стал грести ближе к берегу. В мертвой зыби появились встречные волны, они надвигались одновременно со всех сторон. Альберт перестал грести и сказал:

— Лучше подождать, пока прояснится. Я немножко испугалась и промолчала.

— Если бы Роза замычала, мы бы знали, в какую сторону плыть, — сказал Альберт.

Мы стали прислушиваться в тумане, но Роза не мычала. Было тихо и пустынно, словно настал конец света, и жутко холодно.

— Что-то плывет, — сказал Альберт.

Плыло что-то серо-белое и растрепанное, оно двигалось чрезвычайно медленно, кругами, и приближалось к нам вместе с мертвой зыбью.

— Это серебристая чайка! — сказал Альберт. Он подхватил птицу веслом и поднял ее на плот. На плоту птица казалась очень большой, она продолжала ползти кругами.

— Она хворая, — сказала я, — ей больно! Альберт взял ее в руки и посмотрел, но тут она начала кричать и бить одним крылом.

— Отпусти ее, — заорала я.

Все выглядело страшно — и этот туман, и черная вода, и птица, метавшаяся в лодке и непрерывно кричавшая… и я.

— Дай мне ее, я обниму ее, мы должны ее вылечить! — Я уселась на плоту, Альберт положил птицу мне на руки и сказал:

— Ее не вылечить. Мы убьем ее.

— Тебе бы только убивать да убивать, — ответила я. — Смотри, как она прижимается ко мне, она одинокая и несчастная.

Но Альберт сказал:

— У нее червь! — И, подняв одно крыло, показал, как тот ползает.

Я закричала и отбросила от себя птицу. Потом я начала плакать и, продолжая сидеть в переливающейся чрез край плота воде, глядела, как Альберт очень осторожно взял и осмотрел крыло.

— Тут уже ничего не поделаешь! — объяснил он. — Крыло сгнило. Птицу нужно только убить!

— Пусть она улетает, — прошептала я. — Может, она все-таки выздоровеет!

— А что она прежде выстрадает? — возразил Альберт.

И, вытащив свой финский нож, он взял птицу за голову и прижал ее к плоту. Я, перестав плакать, смотрела, я не могла отвести глаз. Альберт передвинулся и оказался между серебристой чайкой и мной. Затем, перерезав ей горло, дал голове соскользнуть в воду. Когда он обернулся, лицо его было совершенно белым.

— Тут кровь, — прошептал он и весь затрясся. А потом смыл ее.

— Не обращай внимания, — успокоила его я. — Видишь ли, лучше так, чтобы она больше не мучилась.

Он был такой добрый, что я снова заплакала, и на этот раз плакать было чудесно. Все миновало, и все было хорошо.

Альберт всегда должен был все устраивать. Что бы ни случилось и как ты себя ни поведешь, Альберт все устроит и уладит.

Он стоял и смотрел на меня грустным, непонимающим взглядом.

— Хватит злиться, — сказал он. — Видишь, туман рассеивается, и ветер меняется.

ПОЛОВОДЬЕ

Однажды летом под навесом на лодочной пристани было пусто, потому что Каллебисин только и делал что рыбачил. Мама сидела каждый день на веранде и иллюстрировала книги, а потом посылала иллюстрации в Борго с лодкой, перевозившей туда салаку. Время от времени она залезала в море, купалась, а потом снова рисовала.

Папа смотрел на нее, а потом пошел и заглянул под навес и в конце концов поехал в город и привез оттуда вращающийся шкив, и ящик с глиной, и железные подпорки, и все для лепки. Он превратил навес на лодочной пристани в мастерскую, и все вокруг проявили к этому интерес и стали помогать папе. Они пытались убрать оттуда инструменты Каллебисина и хотели подмести пол, но им не разрешили.

Папа рассердился, и тогда все поняли, что навес стал священным, и там ничего, даже самую малость, трогать нельзя. Никто не спускался больше на береговой луг, а лодки так и остались лежать возле пристани, куда они приплывали груженые салакой.

Лето стояло очень жаркое и ветра совсем не было.

Мама все рисовала и рисовала, и всякий раз, когда иллюстрация была готова, она ныряла в море. Я стояла возле стола на веранде и ждала вплоть до той самой минуты, пока мама не начинала размахивать рисунком, чтобы тушь высохла быстрее. И мы обе смеялись, вспоминая о том, как бывает в городе, где рисуешь ночью и так устаешь, что становится худо. Затем мы бежали вскачь к морю и прыгали в воду.

Когда у Каллебисина появлялись в сарае дачники, мне приходилось носить брючки даже в воде.

Папа работал в своей новой мастерской. Он шел туда после того, как, поудив рыбу, выпивал свой утренний кофе. Папа любит удить рыбу. Он поднимается в четыре часа утра, берет свои удочки и отправляется к болоту с уклейками.

Было так жарко, что уклейки в заливе подохли, и мы каждый вечер ставили сети возле Песча ной шхеры. На веранде мы всегда держали пакет с хрустящими хлебцами для папы. Он набивал полные карманы хлебцев и выплывал в море на лодке через пролив.

Грузило — очень важный предмет. Можно бродить часами, не находя подходящего камня. Он должен был чуть продолговатый и с выемкой посредине. Утром папа удит рыбу сам по себе. Никто не мешает ему и никто ему ничего не возражает. Скалы чудесно

освещены и выглядят так же прекрасно, как если бы их нарисовал Кавен. Сидишь теперь там, смотришь на поплавок и знаешь, где клюет и когда клюет. Одна мель носит имя папы, она называется Камень Янссона и будет зваться так во все времена. Затем медленно шагаешь домой и смотришь, не поднимается ли дымок из трубы.

Никто больше не любит рыбачить. Мама держит сачок для рыбной ловли. Но у нее нет чутья на хорошие места, где водится рыба. Такое чутье — врожденное и крайне редко встречается у женщин.

После утреннего кофе папа отправлялся в свою новую мастерскую. Каждый день было одинаково жарко, и ни днем, ни ночью не дул ветер.

Папа все больше и больше мрачнел. Он начал говорить о политике. Никто и близко не подходил к лодочному навесу. Мы больше не купались у подножья горы, а лишь в первом морском заливе. Но хуже всего были дачники Каллебисина. Они наискосок пересекали вершину холма, когда видели, что папа идет к себе в мастерскую, называли его «скульптор» и спрашивали, как обстоят дела с вдохновением. Никогда ничего более бестактного я не слыхала. Они проходили мимо навеса на лодочной пристани, ничуть не пытаясь, чтобы их не заметили, они прикладывали палец к губам и что-то шептали, и кивали друг другу, и хихикали, а папа, естественно, видел все это через окошко.

Но самое ужасное было то, что они предлагали ему темы для творчества. Они подсказывали ему, что он должен ваять! Маме и мне было жутко стыдно за них. Но мы ничем не могли ему помочь! Папа все больше и больше мрачнел и в конце концов вообще прекратил разговаривать! Однажды утром он даже не поплыл рыбачить, а остался лежать в постели, не спуская глаз с потолка и сжав губы.

Погода становилась все жарче и жарче.

Но потом совершенно внезапно вода поднялась. Мы заметили это только тогда, когда однажды ночью подул ветер. Множество сухих веток и всякого мусора летело вниз с холма и билось о наши стекла, лес шелестел, а ночь выдалась такая жаркая, что невозможно было даже накрыться простыней. Дверь распахнулась и начала стучать, а мы выскочили на крыльцо и увидели, что за Хэльстеном катится что-то белое, а затем заметили, как аж у самого колодца наверху блестит вода.

Папа обрадовался и закричал: «Черт, какая погода!» Натянув брюки, он мигом выскочил из дому. Дачников Каллебисина словно ветром сдуло на вершину холма. Они стояли там в ночных рубашках и жались друг к другу, не имея ни малейшего

представления о том, что им следует делать. Однако мама с папой спустились вниз к берегу, а там уже плыла на полдороге к островку Рёдхольмен пристань. Плыла вместе со всеми лодками, которые толкались и теснили друг друга, словно живые, а садок порвался, и весь крепежный лес был уже в пути, пересекая пролив. Потрясающее зрелище?

Трава была залита водой, которая все поднималась и поднималась, а весь ландшафт с бурей и ночью, простиравшейся надо всем, совершенно преобразился, став новым и незнакомым.

Каллебисин помчался за мокнувшей в котле веревкой, Фанни кричала и била в жестянку, а ее белые волосы развевались во все стороны. Папа поплыл на веслах к пристани с канатом в руках, а мама, стоя на берегу, держала канат за другой конец.

Все, что только было на холме, оказалось в море, и береговой ветер погнал все это в пролив, ветер дул все сильнее и сильнее, а вода только и делала, что поднималась.

Я тоже кричала от радости и бегала туда-сюда по воде вброд, и ощущала, как трава плывет вокруг и обвивает мои ноги. Я спасала доски, а иногда мимо меня пробегал папа, выуживал из воды бревна и восклицал:

— Что скажешь об этом? Вода все только поднимается.

Он швырял конец веревки дачникам и кричал:

— Держите, черт возьми, чтобы хоть что-нибудь получилось, так как нам надо вытащить пристань на луг! Сделайте же что-нибудь!

Дачники хватали и тянули веревку, совершенно мокрые в своих ночных рубашках и не понимавшие, как все это весело и что так им и надо за их глупости!

В конце концов мы спасли все, что можно было спасти, и мама отправилась варить кофе. Я стянула с себя все одежки, завернулась в одеяло и, сидя перед очагом, смотрела, как она зажигала огонь. Стекла задребезжали, потемнели, и начался дождь.

Вдруг папа распахнул дверь и вбежал на кухню с криком:

— Черт! Можешь себе представить! Вода под навесом на лодочной пристани поднялась на полметра. Глина превратилась в сплошной соус. Тут без черта не обошлось! И ничего не поделаешь!

— Ужасно! — ответила мама, и вид у нее был такой же радостный, как у папы.

— Послушай-ка, — сказал ей папа. — Я был в первом заливе, в той стороне, куда дует ветер, там на волнах качается целая гора досок. Кофе я выпить не успею. Я вернусь немного позднее.

— Хорошо, — согласилась мама. — Буду держать кофе

горячим.

И папа снова вышел в море. Мама разлила кофе во все чашки. Этот шторм был самый лучшим из тех, которые нам довелось пережить!

ИЕРЕМИЯ

Однажды ближе к осени в сарае лоцманов поселился какой-то геолог. Он не знал ни шведского, ни финского языков, только улыбался и сверкал своими черными глазами. Он смотрел на людей и тотчас же давал им понять, как он удивлен и как счастлив оттого, что наконец-то встретил именно их, но потом шел дальше со своим каменным молотком и выстукивал гору то тут, то там. Звали его Иеремия.

Он взял напрокат лодку, чтобы поплыть к островам, и Каллебисин, стоя на берегу, ухмылялся, глядя, как гребет Иеремия, потому что зрелище было весьма жалкое! Вид Иеремии на море заставлял тебя стыдиться, и папе было интересно, что думают лоцманы, когда геолог садится на весла.

Я приходила к Иеремии каждый день. Мы бродили вокруг заливов и мне разрешалось держать его маленький ящичек с образцами, пока он выстукивал гору. Иногда мне велели сторожить лодку.

Вероятно, то, что я помогала Иеремии, было очень кстати. Он не мог и в полсилы нанести настоящий удар, след от которого был похож на своего рода бантик. Или же он забывал пришвартовать лодку. Но все это только потому, что ему, кроме камней, никакого дела ни до чего на этом свете не было!

Камням при этом вовсе не надо было быть красивыми, или круглыми, или необыкновенными. У него было свое собственное представление о камнях, не похожее ни на чье-либо другое.

Я никогда не мешала ему, и только один-единственный раз показала ему свои собственные камни. И тогда он выказал такое огромное восхищение, что я смутилась. Переусердствовав, он совершил ошибку. Но потом он научился восхищаться в меру.

Мы бродили вдоль берегов, он — впереди, а я — сзади. Когда останавливался он, останавливалась и я, только не слишком близко от него, и наблюдала за ним, пока он выстукивал породу. Но времени для меня у него находилось не так уж и часто.

Иногда, когда он оборачивался и видел меня, он, казалось, бывал удивлен. Наклонившись вперед и вытаращив глаза, он пытался разглядеть меня через свое увеличительное стекло и качал головой, словно невозможно было кому-нибудь быть такой жутко маленькой, как я. Затем он всякий раз обнаруживал меня и пятился назад от удивления, притворяясь, что держит в руках нечто очень маленькое, и мы оба хохотали.

Иногда он рисовал нас на песке — ужасающе длинного и ужасающе маленькую, а однажды, когда поднялся ветер, дал мне

свою куртку. Но большей частью он выстукивал породу и начисто забывал обо мне. Но меня это не обижало. Я всегда следовала за ним, а по утрам караулила у сарая лоцмана, пока Иеремия проснется.

У нас с ним была одна игра. Я оставляла какой-нибудь подарок у него на крыльце и пряталась. А когда он выходил и обнаруживал подарок, он бывал так счастлив. Он удивлялся, и скреб голову, и всплескивал руками, а потом начинал меня искать. Искал он довольно глупо, но это входило в правила игры. Чтобы отыскать меня и обнаружить, как я ужасно мала, требовалось много времени. А я делалась все меньше и меньше, чтобы порадовать его.

Много дней мы выстукивали гору вместе. Но потом стало ветрено и пасмурно, и очень холодно, и тогда появилась она.

У нее был точно такой же геологический молоток, как у Иеремии, и она бродила вокруг, выстукивая породу точь-в-точь, как он. И она точно так же не знала ни шведского, ни финского языков. Она жила в каморке при баньке Каллебисина.

Мне было известно, что Иеремии хотелось выстукивать породу в одиночестве. Он не хотел брать ее с собой, но она только и делала, что приходила и приходила туда, где был он.

Если ищешь камни, лучше быть предоставленным самому себе. Она могла бы искать камни одна, но она этого не делала. Она всегда выныривала с какой-то другой стороны и, встретив Иеремию, притворялась удивленной. Но ее притворная игра была вовсе не веселой, и ничего общего с нами не имела.

Я шла следом за Иеремией с его маленьким ящичком для образцов в руках и ждала, пока он выстукивал породу. Я наблюдала за тем, чтобы лодка была как следует пришвартована. Но, естественно, пока она торчала рядом, мы не могли играть в нашу игру, будто я такая маленькая…

Вначале она улыбалась мне, но на самом деле только скалила зубы. Я смотрела на нее, пока она не отводила глаз и не продолжала выстукивать породу. Я шла за ними следом и ждала, и всякий раз, стоило ей обернуться, она видела меня, а я смотрела ей в лицо.

Мы мерзли, потому что ветер дул прямо в нашу сторону, а солнце никогда не светило. Я видела, что она мерзла и что она боялась моря. Но она все равно плыла вместе с ним в лодке, она никогда не давала ему плыть к островкам без нее.

Она сидела на корме, держась обеими руками за банку[22], и я видела по ее рукам, как она боялась. Она плотно стискивала камни, вытягивала шею и только судорожно глотала воздух. Она не смотрела на волны и все время не спускала глаз с Иеремии. А

он изо всех сил греб зигзагами против ветра, и они плыли в лодке оба и казались все меньше и меньше.

Мне не разрешали больше плыть вместе с ними. Они притворялись, будто лодка слишком мала. Это была крепкая плоскодонная лодка, и я прекрасно могла бы сидеть на носу. Иеремия знал это. Но он боялся ее. Я ждала их до тех пор, пока они снова не появлялись на горизонте и не возвращались обратно к заливам. Я садилась с подветренной стороны за камнем и следила за ними, и когда они сходили на берег, я встречала их и пришвартовывала лодку.

Я знала, что ничего веселого больше не было и быть не могло, но в любом случае каждый день, до самого вечера, следовала за ними по пятам. Я не могла остановиться и брала с собой еду. Но мы не обменивались больше бутербродами. Мы ели каждый отдельно, и все сидели на равном расстоянии друг от друга. Ни один из нас не произносил ни слова.

Потом мы поднимались и шли дальше вдоль берега. Однажды она остановилась и стояла, не оборачиваясь, поджидая меня. Я тоже остановилась, так как спина ее приобрела угрожающие контуры. Быстро обернувшись, она мне что-то сказала. Впервые она что-то произнесла. Сначала я не поняла — что именно… Тогда она множество раз повторила свои слова, повторила очень громко — тонким голосом:

— Убирайся домой! Убирайся домой, убирайся домой! — говорила она. Кто-то научил ее этим словам, но звучали они чудно. Я посмотрела на свои ноги и подождала, пока она двинется дальше. Потом я снова пошла за ней.

Но однажды утром ее не оказалось. Тогда я положила свой подарок на крыльцо сарая лоцмана и спряталась. Я могла прятаться сколько угодно и ждать сколько угодно времени. Тут появился на крыльце Иеремия, нашел мой подарок и очень удивился. Он начал искать меня, а я была жутко маленькой, такой маленькой, что помещалась в его кармане.

Но мало-помалу все стало иным. Я росла, а он находил меня слишком быстро. Он даже больше не удивлялся. И в конце концов случилось ужасное. Мы играли только потому, что начали играть, и считали нелепым прекращать игру. Однажды утром Иеремия вышел на лестницу и нашел свой подарок. Он всплеснул, как обычно, руками и взялся за голову. Но потом рук не убрал, а лишь стоял, долго-предолго держась за голову. А потом подошел прямо к сосне, за которой я пряталась, встал передо мной, и, улыбаясь, уставился на меня. И я увидела, что он скалит зубы точь-в-точь, как она, и ни малейшего дружелюбия в нем уже не было. Это было так ужасно, что я помчалась изо всех сил прочь…

Я стыдилась нас целый день. Часа в три выглянуло солнце, и я отправилась обратно к заливам.

Они были у третьего залива. Он сидя выстукивал породу, а она, стоя невдалеке, смотрела на него. Она больше не мерзла, поэтому сняла шапочку и высвободила огромную копну волос, которой потряхивала, глядя на него. Затем она подошла ближе, расхохоталась и наклонилась, чтобы видеть, чем он занимается, и окутала его своими волосами. Он испугался, вздрогнул, поднялся и наткнулся на ее нос. Мне кажется, это был нос. Она чуть не рухнула на камни, Иеремия подхватил ее, и какое-то мгновение они походили на бумажных кукол. Потом она начала быстро-быстро говорить, а Иеремия, крепко держа ее, слушал.

Он был так далеко от меня, что мне пришлось кричать, иначе бы он меня не услышал, и я прокричала все, что было в моих силах. Но он лишь ушел, а она осталась и глядела на меня, а я глядела на нее. Я смотрела и смотрела на нее, пока не разглядела ее всю по кусочкам и подумала: «Ты огромная и костлявая, как лошадь, и тебя никто не сможет найти и вытащить из травы и тебе не спрятаться, потому что тебя все время со всех сторон видно! И никого тебе не удивить и не обрадовать. Ты совершенно напрасно разрушила нашу игру, потому что все равно сама играть не можешь. О, какая беда, какая беда! Никто не захочет получать твои подарки. Он не захочет их! Ты — ничейный сюрприз, ты ничего не понимаешь, потому что ты не художница»!

Я подошла ближе и сокрушила ее самым ужасным образом, заорав:

— Любительница! Ты — любительница! Ты — профан! Ты — не настоящая!

Она попятилась назад, и лицо ее сморщилось! Я не посмела дальше смотреть на нее, потому что жуткий позор видеть, как взрослый человек плачет. Так что я смотрела в землю и долго ждала. Я услышала, как она отправилась восвояси. Когда я подняла глаза, ее уже не было! Иеремия сидел на мысу и выламывал камень. Тогда я вернулась обратно к сараю лоцмана и взяла свой подарок. Это был очень красивый скелет, совершенно белый скелет птицы. Мама дала мне коробочку, которая была как раз впору, я положила в нее скелет и взяла его с собой в город.

Так редко находишь птичий скелет настоящего, белого как мел цвета!

ТЕАТР

Никому, кроме Фанни, не разрешали топить баньку по субботам. Это — единственная работа, которая ей нравилась. Целый день вышагивала она взад-вперед по вершине холма на своих худых ножках-палочках, таких же белых, как и ее волосы, и носила дрова очень медленно и всего несколько поленец зараз. По субботам Фанни была самой главной во всем заливе Вик, и потому напевала что-то однообразно и пронзительно себе под нос.

Затем баньку снесли. Остались под дождем лишь печь да полок из баньки, да дверной косяк. Лето кончилось, и мама уехала в город. Папа вращал свой шкив, а я разгуливала под дождем. Дождь все лил и лил. Луг, бурый и унылый, пахнул гнилью, и бревна от баньки валялись как попало повсюду, потому что муравьи сожрали их изнутри до основания, и хранить их было незачем.

Когда снова настала суббота, Фанни принесла дрова и положила их в печь. Она стояла и смотрела на полок баньки и на пустой проем двери и что-то бормотала себе под нос. Ее морщинистое лицо было абсолютно пустым, и глаза тоже пустыми. Я видела, что дождь растекался, словно ручейки, по ее морщинам. Она убирала увядшую листву с полка и все время что-то бормотала. Потом она ждала, пока упадет, кружась, очередной листок, и тоже убирала его. В конце концов она уселась на полок рядом с кошкой. Казалось, они сидят на сцене театра.

Я пошла на кухню, легла на дровяной ларь и слушала стук дождя по крыше, пока не заснула. Когда я проснулась, дождь прекратился. Я взяла большую красную столовую скатерть и спустилась вниз к баньке. Папа суетился у Песчаной шхеры. Фанни по-прежнему сидела на полке, но кошка убралась восвояси.

Я влезла на ведро и набросила столовую скатерть на дверной косяк, так что она свисала почти до земли. За пределами дома скатерть казалась еще более красной.

— Это занавес, — объяснила я.

Фанни что-то прокудахтала, но не выговорила ни слова.

Я сходила за гонгом и повесила его на гвозде рядом с занавесом. Затем я вынесла из дома все фонари, лампы и подсвечники и расставила их вокруг сцены. Фанни очень внимательно следила за тем, что я делала. Повсюду капало с деревьев, но дождя не было. Тучи стали такими темными, что наступили сумерки.

Когда все было готово, я переоделась принцессой Флоринной. Я нацепила на себя мамину розовую нижнюю юбку и кошкин воскресный бантик и обвязала живот зеленым шелковым галстуком.

Вернувшись, я увидела, что Фанни собрала множество яблок и разложила их кольцом вокруг театра. Они были такими золотистыми, что земля казалась по контрасту почти черной. На небо выплыла еще более темная туча, и я зажгла свечи. Трудно было заставить гореть лампы, но в конце концов и они зажглись. Фонари не хотели гореть вообще.

Кошка прыгала рядом с Фанни, и я дала каждой из них свою театральную программку, а одну положила на папино место.

Затем я встала за занавесом и ударила в гонг. Я подняла занавес и вышла на сцену. Сначала я поклонилась Фанни, потом кошке, и они принялись очень внимательно рассматривать меня.

Я воскликнула:

— Ах! Моя чудесная синяя птица! Лети ко мне! Я ломала руки и бегала туда-сюда, потому что сидела взаперти в башне и ждала принца Амундуса.

Затем я превратилась в Олоферна[23], надула большой живот и пробормотала:

— Неужто это говорит она, оса этакая! Я не я, если не проучу ее.

Снова полил дождь. У Хэльстена появился бегущий домой папа. За Песчаной шхерой лежала в небе узкая золотая полоска. Все свечи погасли под дождем, но лампы продолжали гореть.

Я быстро превратилась в злую королеву и воскликнула:

— Бессовестная! Что? Ты смеешь показаться здесь, на балу, в таком виде? Прочь! Я пылаю от ярости! Вся моя кровь кипит!

Я тут же стала Флоринной и кротко отвечала:

— Слушаю повеление Вашей милости!

Дождь лил все сильнее и сильнее. Кошка начала умываться. Тогда я вдруг вспомнила, как заколдовали принца Амундуса. Кошка Сюсис, черная и ужасная, заползла за печь, а я произнесла:

— Аригида, ригида игида гида! Мирахо! Ира-хо! Ахо! Амундус! Мундус! Индус! Ндус! Дус! С!

Кошка распахнула печную дверцу и зашипела. Тогда Фанни поднялась и начала топать ногами и кричать:

— Аи, аи, аи! Амундус сказал:

— Отпусти меня, отпусти меня, жестокая ты женщина!

А королева спросила:

— Ты хочешь предать Флоринну?

— Аи! Аи! Аи! — кричала Фанни.

На сцене начинают летать совы и семенить старички

домовые. Я снова стала Флоринной. Но не успела я вымолвить слово, как Фанни съехала с полка, затопала вокруг сцены и захлопала в ладоши, продолжая кричать свое «Аи! Аи! Аи!»!

— Уходи! — сердито сказала я. — Пьеса еще не окончена. Не надо аплодировать сейчас. Но Фанни меня не слушала.

Она присела на корточки перед печью и стала греть руки. Весь дым выходил через отдушину, так как никакой трубы ведь не было, а печь наполовину сгнила. Фанни продолжала топать ногами и петь свою великую дождевую песню.

— Ослица! — закричала я. — Ты же — публика.

Папа шел лугом. Он остановился и спросил:

— Ну-ка, чем вы тут занимаетесь? Он был крайне удивлен!

— Я играю в театр! — закричала я. — И для тебя тоже! А Фанни все испортила!

Лил дождь, и все лампы погасли. Я сидела и плакала что есть сил.

— Ну-ну! — успокаивал меня папа. — Не принимай это так близко к сердцу.

Он не знал, что сказать, и через некоторое время сообщил:

— Я поймал двухкилограммовую…

— Аи! Аи! Аи! — закричала Фанни.

Я вошла первой в дом и все время плакала, но теперь больше для того, чтобы произвести впечатление. Папа вышел следом за мной и зажег свечу, так как все лампы были в театре. Он показал мне щуку.

— Она красивая! — сказала я, потому что всегда следует высказать свое мнение, если кто-то поймал рыбу.

А потом плакать дальше было уже слишком поздно. Я снова оделась как обычно и мы вместе с папой стали пить чай.

Все время было слышно, как Фанни била и била в гонг и пела свою дождевую песнь. Весь луг был затянут дымовой завесой. Но вот кошка устала и вошла в дом.

— Это Сюсис, — мимоходом рассказала я. — Ее заколдовали и превратили в кошку.

— Что-что? — спросил папа.

— Ерунда, ничего, — ответила я, потому что это было не так уж и важно.

Назавтра Фанни была в очень хорошем настроении.

Дверь баньки рухнула, и занавес лежал в траве. Мы расстелили его на столе веранды и оставили там сохнуть до следующего лета.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ФРУ

Папа любит всех животных на свете, потому что они ему не противоречат. Но больше всего ему нравятся те, что лохматые. И они тоже любят его, потому как знают: им разрешат делать все, что они захотят.

С фру все иначе.

Если они — натурщицы, с которых лепят скульптуры, они становятся женщинами, но пока они фру — это трудно. Они не могут даже позировать, и они слишком много болтают. Мама, естественно, никакая не фру и никогда ею не была.

Однажды в сумерках, когда папа стоял на холме, к нему прямо в объятия влетела летучая мышь. Папа стоял абсолютно неподвижно, и тогда она заползла ему под пиджак и, повиснув там головой вниз, заснула. Папа не шевелился. Мы принесли ему обед, и он ел очень осторожно. Никто не посмел произнести ни слова. Потом мы унесли тарелки, а папа остался стоять на холме, пока не стемнело. Тогда летучая мышь ненадолго вылетела из-под пиджака, а потом снова вернулась к папе.

Но осталась в этот раз совсем ненадолго, это просто был визит вежливости.

В то лето мама готовила кашу или спагетти для Пеллюры каждый день, когда рыба не ловилась в сети. Папа выходил на вершину горы и звал: “Пел-люра, Пеллюра!” И тогда чайка-папа прилетала. Иногда — вместе со своими птенцами. Некая фру утверждала, что Пеллюра вовсе не обыкновенная чайка, а серебристая чайка, пожирающая маленьких птенцов гаги, и папа ненавидел эту фру, до тех пор, пока она не уехала.

У Пеллюры были желтые ноги, он был серебристой чайкой и пожирал маленьких птенцов гаги, но когда фру отправилась восвояси, мы все-таки поверили, что Пеллюра просто чайка.

Пеллюра прилетал на зов папы, и потом, домашнее животное никогда тебя не надует, а ты никогда не обманешь его. В городе это труднее, но мы делаем все, что в наших силах.

Весной у нас жили девятнадцать канареек. Хочу заявить вам, раз и навсегда, что канарейки — очень жизнеспособны. Все начинается с папы и мамы. У них появляются птенцы. И прежде чем птенцы оперятся, они должны покинуть родной дом. А папа снова поет, а мама — откладывает новые яички.

Вот так все и происходит с канарейками.

У моего папы большие с ними хлопоты. Канарейки, сидя на наружной антенне, пели и качались, и плескались в воздухе, и все было мирно и радостно, пока они вдруг, сцепившись в драке, не

начали сражаться друг с другом и, накинувшись на самую маленькую и уродливую, не общипали ее так, что она вся словно стала лысой.

Тогда папа щелкнул по их головкам своим резцом и сказал:

— Ах вы, дьяволята вы этакие!

Канарейки тут же успокоились, и уже больше никогда никого не клевали, а только пели.

Папа шел к своему вращающемуся шкиву, клал туда глину, а потом возвращался. Кролики прыгали вокруг него, по одному с каждой стороны, а потом бежали обратно. Они никогда не менялись местами друг с другом. Папу они любили. Но иногда они теряли терпение и дрались за его спиной, так как ревновали его друг к другу. Тогда папа и их щелкал по головам своим резцом. Иногда он щелкал и меня.

Но он никогда не щелкает обезьяну Попполино'. После мамы папа любит Попполино больше всех на свете. Попполино разрешается даже прыгать по дневной газете, которую читает папа, потому что он папин друг. Попполино живет в большой клетке на папиных нарах на антресолях. Но как только он повисает там на хвосте и кричит, ему разрешают выйти на волю.

Обычно они вместе с папой слушают радио, при этом Попполино достается один из наушников и он крутит его, убирая помехи. Или же они вместе с папой идут в магазин и покупают салаку.

Когда папа идет в магазин, он часто бывает вынужден щелкать по головам всех этих фру, потому что они никогда не могут сразу решиться на покупки, да еще самым глупым образом болтают о политике.

То же самое вынужден он делать всякий раз, когда мы ходим смотреть живые картины, так как фру никогда не снимают свои шляпы. Да, трудно с этими фру!

Большей частью они аполитичны и не желают слушать даже о войне, но, во всяком случае, они пугаются, когда папа щелкает их, и это всегда идет им на пользу.

Мама — никакая не фру, и она всегда снимает свою шляпку.

Когда мама одна, она всякий раз поступает по-своему.

Однажды папе захотелось показать Попполино фильм о джунглях, но в кино их не пустили. У папы постоянно хлопоты с Попполино. Если не со всеми этими фру, то с Попполино.

В другой раз папа с обезьяной вместе пошли послушать американца в ресторан “Гамбрини”, чтобы провести приятный вечер, и были выставлены из зала еще до одиннадцати часов вечера. Не то чтобы Попполино плохо вел себя, нет, он просто немного заинтересовался одной шляпкой, которая к тому же была

совсем другого цвета, чем тот, который ему нравится. Да, с домашними животными тоже трудно!

Не один раз случалось так, что Попполино съедал канарейку, и всякий раз папа все так же расстраивался. Но подумав, он понимал, что это все-таки к лучшему, поскольку канареек было слишком много. Ведь в природе должно сохраняться равновесие. Кроме того, они гадили на мамины рисунки, а еще хуже — ей в волосы!

Я знаю, что папа любит мамины красивые волосы точно так же, как Джеймс Оливер Кервуд с Аляски — волосы Жаннетты. Он погружался в них носом перед очагом и тихонько пел вместе со своими верными собаками. Или, возможно, выл. Я имею в виду Джеймса Оливера Кервуда, а вовсе не папу.

Папа всегда во время пирушек говорит о маминых чудесных волосах, а потом продолжает рассказывать о всех остальных фру, которых терпеть не может. Есть такие, у которых волосы на улице распущены и болтаются во все стороны и даже падают им на глаза. Они никогда не моют свои волосы. У таких фру нет чувства прирожденного достоинства, и они понятия не имеют о своей роли в обществе.

Самое печальное, что может случиться с человеком, — это если волосы у него на голове редеют. Это свидетельствует о том, что шляпа слишком ему мала, а еще говорит о том, что он буржуазен и, предположительно, дома находится под каблуком.

Но быть лысым — нечто совсем другое, то есть если лысина резко очерчена, а лучше всего — быть долихокефалом (Человек с длинной и узкой головой *(греч.)* Антропологический признак), как Кавен.

Но больше всего хлопот у папы с этими фру, особенно если они — его натурщицы. Часто у них уродливые колени, хотя торс и хорош, а их пальцы на ногах почти всегда вызывают огорчение. Папа не любит лепить пальцы и хочет, чтобы натурщицей была мама. Но мама вообще не интересуется пальцами на ногах.

У Попполино — очень красивые пальцы на задних лапах и такие же красивые на передних. Он обвивает передними лапками папину шею и повизгивает от нежности к нему. Он утешает всех, кто плачет.

Когда Попполино вырывается на волю и залезает на какой-нибудь дом, существует единственный способ заставить его снова спуститься вниз: надо сесть на улице и заплакать.

Наивные дети подходят к папе и спрашивают: не оттого ли он плачет, что обезьяна укусила его. Какая дурость! Попполино все время кусает папу, но тот никогда не плачет и никогда не сердится на Попполино. Между ними большая дружба.

Однако канареек, хотя их и пожирали, становилось все больше и больше. В конце концов, их было уже двадцать четыре. Тогда папа и мама поместили в “Хувудстадсбладет” объявление, и в нем было написано, что кто желает, может взять канареек бесплатно на улице Лотсгатан, четыре.

Разные фру явились к нам в половине восьмого утра и продолжали являться, пока не стемнело.

У одной фру был собственный автомобиль, а с другой был слуга, который нес клетку для канареек. И все они говорили, что лестница у нас ужасная, и рассказывали о канарейках, которые жили у них раньше, а потом или сдохли, или улетели. Некоторые фру плакали, и папа бегал кругом, отлавливая им все новых канареек, а когда птичек больше не осталось, каждая фру получила яичко, завернутое в хлопчатобумажную материю, чтобы взять его с собой. А когда и запас яичек иссяк, фру только входили в дом и плакали. Попполино сотрясал свою клетку, не испытывая ни малейшей нежности ко всем этим фру, он видел, что плачут они, так как им это нравится.

В тот день никто в доме не работал, а потом стало очень тихо — нам не хватало канареек, и мы раскаивались, что избавились от них. Однако любимчик — крысенок — по-прежнему сидел в своем ящике. Любимчик-крысенок был папиным другом, тихим и почти таинственным. Ящик был набит торфом, а одна его стенка была стеклянной. Сквозь нее виднелся подземный ход, прорытый крысенком. Но сам он почти никогда не показывался.

Папа стоял в ожидании перед ящиком, постукивая резцом, и приговаривал:

— Выйди к дядюшке, зернышко мое!

Мало-помалу в проход высовывалась дрожащая мордочка, но никогда ничего кроме нее. Тогда довольный папа уходил и снова ненадолго брался за работу. Иногда, когда он работает, хорошо, если ты спросишь у него о чем-то приятном, но не станешь при этом болтать.

Нам не следовало бы разрешать уборщице входить в мастерскую, и мы никогда больше этого не делали. Однажды она взяла горсть ветоши и чисто-начисто протерла стекло ящика, где сидел крысенок, а потом сунула ветошь в ящик. Крысенку не понравилось, что стекло стало чистым, и он никогда больше не высовывал мордочку. Но ветошь ему понравилась, и он сделал себе в ней гнездо, какого никто еще никогда не видывал.

Папа расстроился. Одно время он вместо свидания с крысенком бросал салаку сизым чайкам через окно спальной, но это не было так уж мило и приятно, а после Пеллюры это ведь никогда уже не могло стать таким же дружеским занятием. К

тому же к нам явился полицейский и стал ругаться. Мы так никогда и не поняли почему.

У папы всю жизнь были хлопоты с домашними животными. Взять хотя бы Пюре, который сдох от пищевого отравления. Бабушка — папина мама — нашла его в мусорном баке во время войны 1939 г. (Зимняя война 1939 г.). Хвостик у него был оторван, он страдал от чесотки и выглядел ужасно. Он был такой маленький и страшненький, что все, кто только видел его, бывали растроганы и как можно скорее хотели избавиться от него.

Папа и мама постоянно рассказывают истории о Пюре, иногда помногу раз, притом одним и тем же людям. Иной раз они говорят, что Пюре накормили гуляшом, а иной раз — что его вообще ничем не накормили. Я никогда не рассказываю одну и ту же историю одному и тому же человеку.

Все собаки, без исключения, — самые преданные. Они очень напоминают мужей, кроме разве что мопсов. Держать мопсов — в этом есть что-то безумное.

Если фру держит мопса, знаешь наверняка, что она — старая дева. Такое случалось, в особенности когда папа был молод! Но не лучший способ — выйти замуж и, предав, бросить своего мопса. “ Многие прошли этот путь и попали из огня да в полымя”, — говорит папа.

Даже если ты держишь мопса, надо хранить верность. Но это ужасно тяжело!

Вообще, это тяжело и для меня тоже. Я не очень-то думаю о всех этих фру, потому что из-за них, если ты — скульптор, только впадешь в отчаяние! Но зато я все время думаю о папиных домашних животных. Их было столько, что всех и не припомнишь, но с ними всегда одно несчастье, все равно, лохматые они или нет. Я так устаю от одних только мыслей о них!

Попполино теперь раз и навсегда папин друг, точь-в-точь, как и Кавен. Это так, и тут уж ни маме, ни мне ничего не поделать! Попполино проживет сотню лет.

Ну, а все остальные!? Например, овца. Она является на веранду, не вытерев ножек, и топает, и толкается, и получает все, чего только захочет. Затем она снова топает, уже выходя, со своими одеревенелыми ножками и своим примитивным блеяньем и грязным задом, которым вихляет, спускаясь с крыльца веранды и не имея ни малейшего представления о всей той любви, что выпала ей на долю.

Кошки! Они тоже ничего не понимали. Они — просто жирные пудинги, которые только и делали, что спали или же были красивыми и дикими и чихали на папу!

А бельчонок! Папе никогда не удавалось его погладить. Он

был кусачий, проворный и самостоятельный. Ему хотелось только иметь, иметь и иметь, а потом ускакать восвояси, и чтобы его, такого красивого, оставили в покое наедине с самим собой.

Но я утверждаю, что хуже всех была ворона. Эх, до чего же умна была эта ворона! Она знала все о папе, и ей хотелось, чтобы ее гладили. Она была куда опаснее Попполино! Попполино живет чувствами и не может отличить справедливость от несправедливости.

Ворона же разницу между ними знала! Она все продумывала и рассчитывала. Она смотрела на папу, а потом смотрела на меня. Видно было, что она раздумывала. Она явно размышляла. А потом каркала сиплым голосом, хотя и очень тихо, в тоне жалобной нежности и, повесив голову, подходила к папиным ногам. Она терлась о них, она казалась беспомощной и кроткой, так как знала, что папе это нравится.

Но когда она оставалась наедине со мной, она каркала, издавая свое “кар-кар” с тем внезапным и отчетливым бесстыдством, какое и подобает вороне, каковой она и являлась. Мы непримиримо смотрели друг на друга, и я знала, что у нее — блохи!

Папа не видел их, так как не хотел видеть. Он позволял ей каркать и горланить на ее льстивый и вкрадчивый лад и говорил:

— Ну, послушай-ка, тебе известно, что сейчас три часа утра? Думаешь, у меня есть для тебя что-нибудь? Ты в самом деле считаешь, у меня есть время заботиться обо всяких воронах?

“Есть, есть, есть, — думала я, лежа в кровати, кусая простыню и ненавидя ворону, — конечно, у тебя есть время, и ты придумал для нее еду ещё вчера вечером”!

А папа поднимался и спрашивал:

— Что если мы все-таки пойдем и посмотрим, что у нас есть?

— Кар-кар-кар, — отвечала она так мягко и кротко, как только может отвечать фальшивая и лживая ворона. Потом они выходили из комнаты и шли искать какую-нибудь еду!

Однажды ворона сидела на решетчатом настиле перед крыльцом и чистила перья:

— Кар-кар! — поманил ее папа с веранды, но ворона продолжала свое занятие.

— Ты что, не слышишь, он тебя зовет, — сказала я и толкнула ворону.

Ее ножка попала в отверстие решетчатого настила и сломалась. Вороньи ножки — тоненькие. Никто не знает, какими тонкими могут быть вороньи ножки. Она стала бить крыльями и закричала. И теперь она кричала естественно, а не для того, чтобы произвести впечатление на папу.

А потом она сдохла, и ее похоронили. Папа не сказал ни слова. Я пряталась за погребом и придумывала стишок на смерть вороны.

“Ах, маленькая ворона, как краток был твой жизненный путь, все битвы и брани мира, его покинув, забудь! В грудь твою нанесен смертельный удар, земная судьба твоя решена, на тебя жребий пал! Может, ты сидишь на далекой звезде, ты белая, как лебедь, да, этого я и желаю тебе! Вот солнце садится пурпурно-золотое, лучи его озаряют гагачий холм, где встречаются наконец ласточка, певчий дрозд; орел и зяблик, но только не ворона. Она покоится в могиле, она больше не каркает, не кричит, а месяц так тихо на все это с небес взирает и чуточку ворчит”!

Я слышала довольно отчетливо, как папа сказал маме, что это стихи одаренного человечка. Может, стихотворение помогло ему меньше горевать. Может, оно помогает и мне. Иначе дух вороны будет преследовать меня до самой смерти. Но нечего обращать на это внимание, я все равно победила!

А вообще-то мух папа не любит! Такая ли уж большая разница между воронами и мухами? И те, и другие летают! И те, и другие черно-серые. И у тех и у других появляются детеныши. У мух — очень наглядно!

Они сидят друг на друге, жужжат, точь-в-точь как канарейки, и производят много-много мушек, причем все время новых и новых. Но папа мух не любит и хочет их только истреблять. Он ловит их в сачок, а когда тот полон и в нем примерно шесть миллионов невинных мух, которые ползают вокруг жужжа, он завязывает сачок и всех одновременно топит в кипящей воде! Как он может?

Я иду три километра до самого городка, прежде чем выпускаю мух. А не то их утопят в кипящей воде. Мне интересно, любят ли в этом городе мух? Никто, кроме меня, не жалеет их и не хочет помочь мне их спасти. Я спросила об этом Аллана, который случайно жил летом с нашей семьей на даче.

— Не будь дурой, — ответил он. — Ты знаешь, что меня интересуют только дохлые животные. Я их хороню.

— Ну, а мухи, которые дохлые? — спросила я. — Ты каждую кладешь в отдельную могилку или всех в одну и ту же?

Но он только таращил на меня глаза и снова повторил:

— Ты дура!

У Аллана пять кладбищ со множеством крестов, он целыми днями собирает трупики животных и всем жутко надоел. Единственная, кто помогает ему, кроме меня, это — Фанни. Она умеет находить дохлых животных и каждое утро складывает их рядком на крыльце — сначала ряд красивых камней, затем — ряд

ракушек и наконец ряд трупиков.

Аллан не смеет научиться плавать и он не умеет играть. Скоро он уедет, и это тоже хорошо. Похороны время от времени могут быть интересны, но не всегда же…

Во всяком случае, я буду иногда по вечерам ходить на его кладбище и петь псалом или читать мой стишок на смерть вороны, потому что, как говорит папа, необходимо придерживаться традиций.

ТЕТУШКА, ОДЕРЖИМАЯ ИДЕЕЙ

Неделю за неделей Тетушка, сидя перед домиком Каллебисина, цементировала каменное крыльцо. Крыльцо росло очень медленно. Оно должно было стать необыкновенно красивым и не похожим ни на одно другое крыльцо во всем мире. Это был Тетушкин подарок нам за то, что ее пригласили пожить в мансарде.

С каждый днем она просыпалась все раньше и раньше. Мы невероятно долго слышали скрип ее шагов по лестнице, потому что она, спускаясь вниз, так боялась нас разбудить! Затем она так же осторожно передвигала свои ведра и камни перед верандой, время от времени раздавалось очень легкое дребезжание, что-то шлепалось и плескалось и в конце концов мы, уже совершенно проснувшись, ждали лежа очередного осторожного звука.

Иногда она со скрипом проходила по веранде за чем-то, что позабыла взять и, приложив палец к губам и приотворив дверь, шептала:

— Спите же, спите. Ш-ш-шуш! Не обращайте на меня внимание! А потом слегка улыбалась таинственно и печально.

Она была длинная и худая, а ее близко поставленные глаза смотрели с каким-то боязливым выражением. И годы у нее сейчас были трудные. Почему они были для нее трудными, никто сказать не мог, но во всяком случае с ней творилось что-то неладное, и крыльцо было единственным, что интересовало Тетушку.

Поэтому мы преувеличенно им восхищались. Когда мы выходили на веранду, Тетушка кричала:

— Нет, нет, нет! Подождите немного, подождите немного!

Она вскакивала и тащила большую доску, потом приподнимала один ее конец, клала его на порог, а другой — на ящик. Пока мы балансировали по доске, она с испуганным видом умоляюще кричала:

— Крыльцо только что зацементировано! Оно мокрое! Будьте так безумно добры и не ходите рядом!

Затем папа убирал доску, чтобы Тетушка могла продолжить работу дальше, и она чрезмерно преувеличенно благодарила его за помощь.

День за днем, опустившись на колени, она подбирала камни, а вокруг нее теснились ведра и жестянки с цементом, водой и песком, валялись тряпки и кельни[24], маленькие колышки и лопаты.

Камни должны были быть гладкими и красивого цвета. Они лежали кучами, которые каждый из нас складывал в соответствии

с чрезвычайно замысловатой выношенной им идеей и не позволял смешивать свою с другими. Самые мелкие камни были красными или белыми и лежали в отдельной коробке.

Тетушка цементировала, и размышляла, и мастерила, и ошибалась, и снова размышляла, а иногда только сидела и смотрела.

Мы начали выходить из дома через окно комнаты и входить туда же, но делали это тайком. Однажды мама выплеснула немного воды, когда несла ведра по доске, и значительная часть зацементированных камней была испорчена. После этого мы приносили ведра с водой также через окно.

Я знала, что Тетушке помогать нельзя, ей хотелось играть одной. И я только стояла и смотрела.

Она начинала с мелких красных и белых камней и уже вмонтировала их в цемент длинными рядами. Это должно было быть какое-то изречение. Всякий раз, когда мелкий камешек был вставлен неправильно, она тихонько подхныкивала.

— А ты не любишь играть? — спрашивала я. Она не понимала, что я имела в виду.

— Это трудно, — отвечала она. — Ты не должна смотреть.

И я убиралась восвояси!

Тетушка хотела, чтобы изречение было следующее: «Пусть мир обитает под моим порогом на крыльце». Но она забыла измерить длину надписи. Так что, когда она уже подходила к концу изречения, на слово «порогом» места не хватило. Получился лишь первый слог «по».

— Тебе надо было сначала снять мерку, — сказал папа. — И запастись шнуром, чтобы надпись была ровной. Я бы мог показать тебе, как это делают.

— Легко говорить потом! — воскликнула Тетушка. — Вам, возможно, все равно — зацементировано крыльцо или нет. Я, пожалуй, знаю, почему вы все лазаете через окно… Чтобы показать, будто я всем мешаю!

— Но какого черта нам таскаться среди всех твоих кадок и горшков! — произнес папа.

Тут она заплакала и побежала в мансарду. Папа остался стоять. Вид у него был несчастный, и он все повторял:

— Вот черт! Вот черт!

Тетушкино крыльцо так никогда и не было по-настоящему доделано. У нее пропало всякое желание довести работу до конца, и она перенесла все свои камни и прочее вниз к подножию горы, вместо того чтобы зацементировать камни в большой яме с водой. Доску убрали. Но тот пролом, пробив который, Тетушка начала плакать, так и остался и беспрестанно взирал на нас.

На следующий день Тетушка опорожняла большую яму с помощью ведра. Когда она дошла почти до самого дна, она попросила ковш. Затем ей понадобились несколько кофейных чашек и резиновая губка.

Но в самом низу, в тине, обитали разные мокрицы, козявки и букашки, которых Тетушка боялась и жалела. Так ужасно было вытаскивать их наверх, что она чуть ли не кричала, но это ведь необходимо было сделать. Она целый день переносила их в другую яму, а в перерывах между чашками кофе, который она беспрестанно пила, Тетушка окунала руки в воду, взмахивала ими, а слезы ее так и капали в море.

Когда яма совершенно опустела, она выложила дно камнями и прочно зацементировала их. Она поворачивала и вертела каждый камень, чтобы те подошли друг к другу, но это не получалось. Она пробовала один камень за другим, но они не желали сдаваться. Потом она заметила, что я стою за штабелем дров.

— Не смотри! — закричала она.

И я снова убралась восвояси.

Тетушка начала искать другие камни в заливах, но они все оказались либо неподходящей формы, либо неподходящего цвета.

А самое трудное было очищать камни, когда их наконец закрепляли.

Она мыла, и сушила, и терла, и беспрестанно намачивала тряпку, но когда камень высыхал, на нем все-таки оставалась серая цементная оболочка, и Тетушке приходилось начинать все сначала. А зимой яма промерзала до самого дна и камни лопались.

Да, трудно быть Тетушкой!

Когда на следующее лето она вернулась, я ужасно боялась, что ей опять будет худо. Мы заполнили пролом в крыльце песком и налили немного молока в большую яму, чтобы она не видела, как выглядит дно. Но Тетушка совершенно не интересовалась больше цементированием. Она привезла с собой целый чемодан своих старых альбомов с глянцевыми картинками, замочила их, как белье, потом отклеила все глянцевые картинки и разложила их сушиться на холме.

Это было спокойное и красивое воскресенье, а холм весь казался крапчатым от тысяч роз и ангелов на картинках. Тетушка снова радовалась, и ей в голову пришла новая идея. Затем она прогладила картинки утюгом в кухне и перенесла все наверх в мансарду. Работа принесла ей такое облегчение, что она снова обрадовалась!

— Все это производит гораздо лучшее впечатление, —

заметила мама.

Но папа спросил:

— Ты так считаешь? Ну ладно! Я как обычно ничего не сказала.

Тетушка стала клеить коробочки. Она сидела на чердаке и мастерила маленькие коробочки со множеством отделений и покрывала их снизу доверху снаружи и внутри глянцевыми картинками. Глянцевые картинки тотчас прилипали и сохраняли цвет, и их вовсе не надо было приспосабливать друг к другу. Она просто наклеивала одну на другую.

Вся мансарда была битком набита бумагой и баночками с клеем, коробочками и кучами глянцевых картинок, до которых нельзя было дотрагиваться. Тетушка сидела среди всего этого ералаша и клеила, клеила, клеила… В конце концов, куча бумажного хлама достигла уже ее колен. Но она ничего не складывала в коробочки и никому их не отдавала.

— Они всегда будут пустыми? — спросила я.

Тетушка взглянула на свои коробочки и ничего не ответила. Ее длинное лицо казалось испуганным и огорченным, а на челке повисла глянцевая картинка.

Я устала от Тетушки, потому что она была невеселой. Я не люблю, когда людям живется трудно. У меня пробуждается от этого нечистая совесть, а потом я начинаю думать, что они могли бы уйти куда-нибудь в другое место!

Но бабушка любила Тетушку, которая была хорошей клиенткой в ее магазине пуговиц, и они обычно всю зиму читали вместе «Всеобщий семейный журнал».

У бабушки тоже было множество коробочек, но у нее по крайней мере в них лежали пуговицы. Пока бабушкина пуговичная торговля процветала, каждый сорт пуговиц лежал в отдельной коробочке, но когда все рухнуло, все пуговицы перемешались и это, собственно говоря, было даже гораздо приятней.

Прежде чем в магазин нагрянули полицейские, бабушка успела спрятать множество ящичков с пуговицами под своими юбками, точь-в-точь как спрятала оружие во время войны. Она спасла также много сотен килограммов «Всеобщего семейного журнала», фарфоровых собачек, бархатных подушечек для иголок. А также целую партию ночных колпаков и шелковых лент. А потом она вздыхала и повторяла: «Ах, ах. Скоро опять начнутся трудности». И отнесла все, что удалось спасти, к папе и маме в мастерскую.

Мама спрятала «Всеобщий семейный журнал», но бабушка и я снова разыскали его и извлекли на свет — главным образом

потому, что страницы там были целы, хотя часто и печальны: «Юную ведьму ведут на костер»… «Смерть героини»…

И каждый журнал сохранялся для Тетушки. Они с бабушкой тайком читали эти журналы, запершись в спальной.

Однажды Тетушка явилась читать «Всеобщий семейный журнал» в самый ужасный день, какой только могла придумать. Папа как раз отливал скульптуру в гипсе. А это большое и трудное дело, состоящее из множества частей.

Гипс уже был замешан, так что вопрос шел буквально о секундах. Вы знаете, в этот момент гипс не следует размешивать и едва можно дышать.

Я и мечтать не смела о том, чтобы войти в мастерскую именно в такой момент. Папа с мамой стояли наготове, одетые в специальную одежду, предназначенную для отливки гипса, и весь пол был устлан коричневой бумагой.

Именно тогда в мастерскую ворвалась Тетушка и воскликнула:

— Привет, привет! Мне кажется, здесь сейчас что-то произойдет? Пожалуйста, позвольте мне остаться, я вам не помешаю!

Я стояла за портьерой и наблюдала. Тетушка двинулась прямо к бочке с гипсом, сунула в раствор палец и воскликнула:

— О, гипс! Разве это не замечательно! Как раз теперь я особенно интересуюсь гипсом!

Мама сказала:

— Мы работаем!

У папы был такой вид, словно он вот-вот убьет кого-нибудь.

Я так испугалась и забеспокоилась, что влезла наверх на свои нары. Я была уверена, что папа швырнет глиной в Тетушку, так как он всегда это делает, когда сердится! Но единственное, что я услышала, было мягкое чавканье мокрого гипса. Во всяком случае папа с мамой начали отливать скульптуру. Тетушка болтала все время, не понимая; что мешает почти святому делу. На какой-то миг бабушка испуганно высунула голову из спальни и снова исчезла.

Мало-помалу я осмелилась спуститься вниз и увидела, что Тетушка уже напялила на себя спецовку и стоит у окна, опустив обе руки в маленькую миску с гипсом.

— Уже затвердевает! — кричала она, — что теперь делать?

Но вместо того, чтобы стукнуть ее по голове, папа подошел и показал, что ей надо делать. Я посмотрела на маму. Она, усмехаясь, пожимала плечами.

Оказывается, Тетушка вырезала картинку из «Всеобщего семейного журнала» и положила ее рисунком вниз в блюдце.

— Ты хорошенько смазала блюдце? — строго спросил папа.

— Да-да! — ответила Тетушка. — Точь-в-точь, как ты велел.

— Ну тогда заливай картинку! — велел папа. Но не суй туда руки!

Тетушка налила гипс в блюдце и папа, взяв шпатель, ровненько разгладил гипс. А потом спросил:

— Тебе нужен и крючок?

— Да, да, — прошептала Тетушка с таким счастливым видом, что вместо того, чтобы вдохнуть воздух, выдохнула его.

— Картинка будет висеть на стене! — сказала она.

Папа фыркнул, подошел к катушке стальной проволоки и отщипнул кусок. Он сделал петлю и опустил один конец проволоки в гипс.

— Теперь не трогай картинку, — сказал он, — она должна высохнуть.

— Какой ты добрый! — вздохнула Тетушка, и на глазах у нее выступили слезы.

— Я приду завтра снова и захвачу с собой глянцевые картинки. Это будет еще красивее!

Так она и сделала!

Все время, пока отливали гипсовые скульптуры, Тетушка стояла у верстака, клала глянцевые картинки в блюдце, заливала их гипсом, делала на одном конце проволоки петлю, точь-в-точь как учил ее папа. Уже целый ряд круглых гипсовых пластинок лежали одна за другой на верстаке, а в середине красовалась большая блестящая глянцевая картинка. Она красиво смотрелась на белом как мел — без единого пятнышка — гипсе, потому что Тетушка становилась все более и более умелой.

Она была вне себя от радости. Бабушка пришла посмотреть на ее работу и без конца восторгалась ею. Тетушка подарила каждому из нас гипсовую картинку, а папину повесила на стене мастерской.

Я не знала, что и думать. Гипсовые картинки действительно были самым красивым из всего, что я когда-либо видела. Но они не являлись произведениями искусства. Нельзя было, не следовало испытывать уважение к ним. Собственно говоря, их следовало презирать.

Ужасно было делать гипсовые слепки с глянцевыми картинками в папиной мастерской, да еще во время отливки скульптуры из гипса.

Но самое худшее то, что Тетушка ни разу даже не взглянула на скульптуру, уже готовую для ретушировки и патины, она только и делала, что болтала о своих собственных картинках. Весь верстак был заполнен ими и походил на кондитерский

магазин.

В конце концов Тетушка получила большой пакет гипса, а все картинки были упакованы в бумажные коробки. Тетушка забрала все с собой домой и исчезла.

— О, как прекрасно! — сказала мама и начала мыть пол. — Теперь ты можешь снять ее.

Папа снял со стены Тетушкину гипсовую пластинку, взглянул на нее и фыркнул. Я смотрела на него и думала: «Теперь я тоже должна снять свою». Я ждала, что он станет делать. Некоторое время он держал пластинку над мусорным ведром. Затем подошел к книжной полке и сунул пластинку за статуэтки более раннего периода.

Виден был только кусочек глянцевой картинки, возвышавшейся над статуэтками. Поднявшись на свои нары, я сняла пластинку с глянцевой картинкой с гвоздя. Я поставила ее за подсвечник на книжной полке и, подойдя сзади, стала смотреть. Было нехорошо. Тогда я немного выше подняла картинку, и подсвечник заслонил лишь несколько незабудок.

Ничего не поделаешь, пластинка с глянцевой картинкой была в самом деле очень красива, и мне она, строго говоря, пошлой ничуть не казалась.

ТЮЛЕВАЯ ЮБКА

Повернув ключ, я стала ждать. Через некоторое время дверца сама собой отворилась, очень медленно, словно кто-то надавил на нее изнутри. Затем платяной шкаф выбросил черную тюлевую юбку, и дверца остановилась. Я повторила это множество раз. Всякий раз мамина тюлевая юбка из магазина на Микаэльсгатан вела себя, словно живая.

Это праздничная юбка, которую никогда не надевают, или, скорее, это десять или сто прозрачных праздничных юбок — одна над другой, это целая гора тюля, или дождевая туча, или, быть может, траурная одежда. Я влезла в шкаф под юбку и заглянула вверх в нее, и теперь она стала кабиной лифта, исчезавшей в темноте. Я чуточку потянула ее за подол. Тогда тюлевая юбка, слабо шурша, соскользнула мне на голову. Я слышала, как вешалка колышется и хрипит в шкафу. Я долго сидела тихо и пряталась. Потом я вылезла из шкафа, а юбка последовала за мной.

Я продолжила свой путь по коридору, окутанная дождевой тучей, которая шуршала и бормотала вокруг меня и, когда прижималась к моему лицу, казалась шероховатой. Дома никого не было. Когда я вошла в мастерскую, туча немного рассеялась, стала прозрачной и я увидела ножки скульптур и вращающихся шкивов, но все вместе взятое было серо-черным, как при солнечном затмении. Каждый цвет был затемнен, и на него словно накинули траурную вуаль, да и мастерская казалась совершенно новой, такой, в какой я никогда прежде не бывала.

Я поползла. Внутри юбки было жарко, а иногда я вообще ничего не видела. Тогда я начинала продвигаться в новом направлении, и предо мной снова открывались туннели черного света, и все время шумел дождь.

Я подползла прямо к большому рабочему зеркалу папы, стоявшему на полу против ящика с гипсом. Большое черное мягкое животное двигалось прямо мне навстречу.

Я стала осторожной и остановилась. Животное выглядело бесформенным. Оно было одним их тех, что могут, распростершись, медленно заползать под мебель или превращаться в черный туман, который все сгущается и сгущается, пока не станет липким и не начнет плотно обволакивать тебя.

Я позволила животному чуточку приблизиться и вытянула руку. Рука поползла по полу и быстро вернулась назад. Животное подползло еще ближе. Внезапно испугавшись, оно быстро

прыгнуло наискосок и остановилось.

Тут испугалась я. Я все время не спускала с него глаз. Теперь оно шевелилось так медленно, что не видно было, движется оно навстречу или нет. Только иногда контуры его менялись, и черный живот утюжил цементный пол. Мне стало трудно дышать. Я знала, что мне надо убежать и спрятаться, но я не могла. Теперь оно снова покатилось наискосок к стене и больше не показывалось. Оно пряталось в разном хламе за вращающимися шкивами, оно находилось где-то среди мешков с гипсом и могло появиться откуда угодно. В мастерской стало смеркаться. Я знала, что сама выпустила это животное, и мне долгое время не удастся его поймать.

Очень медленно поползла я к стене и начала скользить мимо книжной полки. Я приблизилась к занавеске и продолжала свой путь под рабочей скамьей. Там было тесно. Все больше и больше тюля наползало мне на лицо, в глаза, в рот, и чем дальше я продвигалась, тем хуже становилось.

В конце концов я застряла. Я завернулась в кокон из черного тюля, пахнувшего пудрой и пылью, и оказалась в совершенной безопасности. Только через год удастся мне снова выбраться отсюда, осмотреться и решить, стоит ли это делать.

Если меня не озарит какая-нибудь идея, я снова заползу в кокон и останусь там и впредь.

А в мастерской огромное животное отправилось на охоту. Оно выросло и превратилось во множество животных. Они обнюхивали все вокруг, и поводили носом, и отбрасывали длинные тени по полу. Каждый раз, когда они окликали друг друга, их становилось все больше, до тех пор пока они не заполнили всю мастерскую. Они простирались у ног скульптур. Они прокрадывались в спальную и прыгали в кровати, так что там оставались глубокие отпечатки их лап.

Под конец они все вместе уселись на окно мастерской и, глядя на гавань, беззвучно завыли.

Тут я поняла, что они — не опасны. Разумеется, они слышали, как другие животные воют на островке Хёгхольмен. Островок этот виделся им, словно тень по другую сторону льда, и они были вне себя. Бесконечная печаль; темный островок, полный снега, и холодных клеток, и бродивших туда и обратно, туда и обратно животных, которые только и делали, что выли.

Я вылезла задом наперед из-под рабочей скамьи и заметила, что на голове у меня мамина праздничная юбка и что она вся в клочьях пыли, так что я сбросила ее с себя и стала бегать вокруг, повсюду зажигая свет. Я зажгла свет в мастерской, и в гостиной, и в спальной и распахнула несколько окон. У меня было ужасно

много дел, я открыла двери тамбура и тянула вниз занавеску, я залезала на стулья и открывала печные вьюшки, и сотни черных животных все время прыгали мимо меня во все стороны.

Поднялся сильный сквозняк, и ветер проносился по всем комнатам прямо из гавани и уносился через крыльцо на волю. И великое множество животных стало выбегать из дома, пока не осталось больше ни одного. Они смеялись, убегая.

В конце концов стало совсем тихо и я подумала: «Хо-хо, да-да, обо всем надо позаботиться». Но теперь все прояснилось.

Я положила мамину праздничную юбку в шкаф и заперла его. Потом пошла в гостиную и глянула на снежный сугроб. Он длинной кривой линией очень красиво лежал на полу и медленно рос. Влетая через окно, снежинки шептались. На островке Хёгхольмен все животные успокоились и больше не выли, потому что у них появилась хорошая компания. Гардины на окнах развевались, а некоторые рисунки на стенах чуточку приподнялись. В комнате похолодало, и она словно приобрела новый вид, а я чувствовала себя спокойно и думала, что я все очень хорошо устроила.

Собственно говоря, я лишь сделала то, что должен был сделать каждый добропорядочный гражданин. По-моему, кто угодно может выпустить на волю опасность, но вся штука в том, чтобы суметь найти для нее потом другое место.

СНЕГ

Когда мы подошли к какому-то чужому дому, снег начал падать по-новому. Множество усталых старых туч столпились над нашими головами и, как им заблагорассудилось, извергли сразу же огромную массу снега.

То не были обыкновенные хлопья снега, они падали прямо вниз большими слипшимися между собой льдинами, они тут же сжимались, быстро опускаясь вниз. И были они не белыми, а серыми. Мир казался тяжелым, как свинец.

Мама внесла в дом чемоданы, потопала ногами на коврике у двери и стала говорить, говорить и говорить о том, как, по ее мнению, весело, что все выглядит таким другим и непохожим…

Я же не произносила ни слова, так как чужой дом мне не понравился. Я стояла у окна и смотрела, как падает снег, но он был ошибочный, не настоящий. Он был не таким, как в городе. Там его белыми и черными хлопьями заносит ветром на крышу или же он падает, божественно спокойный, описывая красивые дуги над окном гостиной. Весь ландшафт казался также опасным. Он простирался, обнаженный и открытый, и заглатывал снег, а деревья стояли черными рядами, уходившими в никуда. На краю света виднелась узкая лесная опушка. Все было ошибочным и не настоящим. В городе должна быть зима, а за городом лето. Мы же во всем пребывали на ошибочной, не настоящей стороне.

Дом был большой и пустой. Здесь оказалось слишком много комнат. Все выглядело очень чисто, и ты не слышал своих собственных шагов, так как ковры были большими и мягкими, как мех.

Когда ты стоял в какой-либо комнате, издалека виднелась целая анфилада помещений, и это производило грустное впечатление: похоже на поезд, который вскоре должен отойти и выключает свои огни над перроном. Самая последняя комната была темной, будто ты находился внутри туннеля, без единого слабого мерцания золотых рам и блеска висевшего высоко на стене зеркала. Все лампы светили мягко и туманно, образуя небольшой кружок света. И не было слышно шагов, когда ты бежал.

На улице все обстояло точно так же. Мягко и неопределенно. А снег только и делал, что все падал и падал.

Я спросила, почему мы живем в чужом доме, но не получила сколько-нибудь вразумительного ответа. Та женщина, что готовила еду, почти никогда не показывалась и не болтала.

Она незаметно входила, а потом так же незаметно выходила.

Дверь снова беззвучно закрывалась и долгое время раскачивалась, пока все снова не стихало. Я демонстрировала свою неприязнь к дому тем, что не произносила ни слова.

После полудня снег стал еще более серым и падал хлопьями, прилипая к стеклам окон, и стекал вниз и снова появлялись из сумерек хлопья снега, и все повторялось сначала. Они походили на серые руки с сотнями пальцев. Я попыталась все время смотреть на большую снежинку, пока она опускалась вниз; она как бы распустилась и падала все быстрее и быстрее. Затем я уставилась на следующую, и она тоже падала, и еще на следующую, следующую… и в конце концов у меня заболели глаза и я испугалась.

Во всех комнатах было жарко, тут располагались комнаты для множества людей, но нас было только двое. Я ничего не сказала.

Мама радовалась, она бегала вокруг и кричала:

— Как мирно и спокойно! Как тепло!

А потом она уселась за большой полированный стол и принялась за работу. Мама убрала кружевную скатерть, разложила все свои иллюстрации и открыла бутылочку с тушью. Тогда я поднялась вверх по лестнице. Та трещала и скрипела и издавала множество звуков, которые бывают у лестниц, когда целая семья ходит по ним долгие годы. Это хорошо, так и надо делать. Тут уж знаешь точно, какая ступенька трещит, а какая беззвучна, и на какую надо встать, если не хочешь, чтобы тебя услыхали. Единственное — эта лестница была не наша.

Ею пользовалась совсем другая семья. Поэтому я считала эту лестницу жуткой. В верхнем этаже точно так же мягким светом горели все лампы, и во всех комнатах было тепло и чисто, а двери открыты. Только одна единственная дверь оказалась заперта. Там было холодно и темно, и там находился чердак, где в ларях и в сундуках лежали вещи чужой семьи, а мешочки, защищающие вещи от моли, висели длинными рядами и чуть заиндевели сверху.

Тут я услыхала, как падает снег. Он падал все время — мягкий и угрожающий, шепчущий и шелестящий, а в одном углу он даже улегся на пол.

Присутствие другой семьи чувствовалось наверху повсюду, так что я прикрыла дверь чердака, спустилась обратно вниз и сказала, что хочу спать. Собственно говоря, спать я вообще не хотела. Но подумала, что так будет лучше. Мне не надо будет ничего говорить. Кровать оказалась широкой и пустынной, как здешний ландшафт. Покрывало было тоже словно рука. Ты опускался и опускался на дно мира, ведомый большой мягкой рукой. Все было не так, как дома, да и не так, как где-либо.

Утром снег валил так же, как вчера. Мама включилась в работу и радовалась. Ей не надо было топить печь и готовить еду и о ком-то беспокоиться. Я ничего не говорила. Я пошла в ту самую комнату, что была дальше всех, и стала караулить снег. Я ощущала большую ответственность, и мне следовало выяснить, что он делает. Со вчерашнего дня уровень снега повысился. Тысяча тонн мокрого снега прилипло к стеклам, и чтобы увидеть длинный серый ландшафт, приходилось взбираться на стул. И снаружи сугробы тоже поднялись. Деревья стали тоньше и боязливее, а горизонт переместился гораздо дальше. Я рассматривала все до тех пор, пока не поняла, что мы пропали. Этот снег решил падать до тех пор, пока все не превратится в один большой сплошной сугроб, и никто уже не вспомнит, что под ним находится. Все деревья опустятся в землю, да и все дома тоже. Никаких больше дорог и никаких следов, а один лишь снег, который все падает да падает.

Я поднялась на чердак и слушала, как он падает, как прилипает, как садится и как растет. Я не в силах была думать ни о чем, кроме снега.

А мама все рисовала.

Я строила из подушек на диване разные здания и иногда глядела на маму через смотровую щелочку между подушками. Почувствовав на себе мой взгляд, она, продолжая рисовать, спросила:

— Тебе хорошо? И я ответила:

— Ну да…

Затем я поползла на четвереньках в ту последнюю комнату, влезла на стул и смотрела, как снег, опускаясь, движется мне навстречу. Теперь уже весь горизонт сполз вниз за край света. Ты не видел уже опушку леса, она соскользнула прочь. Мир перевернулся, он медленно опрокидывался, от этой мысли понемножку каждый день кружилась голова. Мир медленно, медленно переворачивался, отягощенный снегом. Деревья и дома больше не стояли прямо. Они наклонились вниз. Мало-помалу трудно станет ходить выпрямившись. Землянам придется ползать. Если они забыли запереть окна на крючки, их окна распахнутся. И двери тоже распахнутся. Бочка с водой упала и покатилась по бескрайней пашне, и дальше через край света! Весь мир был полон вещей, которые катились, и еле волочились, и падали. Большие вещи валились с грохотом, их слышно было издалека, речь шла о том, чтобы вычислить, откуда они движутся, и уползти от них… Вот они уже появились, с грохотом пронеслись мимо, прыгнули в снег, когда угол падения стал слишком велик, и в конце концов выпали во Вселенную.

Маленькие дома, где не было подвалов, отделились от земли, и вихрь унес их прочь. Снегопад прекратился, и хлопья снега полетели горизонтально. Они падали вверх и исчезали. Все, что не было прикреплено, выкатилось во Вселенную, а небо медленно темнело и становилось черным.

В самом доме пол превратился в стену и все ковры лежали, словно мягкий вал под вереницей окон. Мы забрались под мебель, стоявшую между окнами, и боялись, что можем случайно разбить стекло. Но иногда картина или бра отделялись от стены, падали вниз и разбивали оконное стекло. Дом жаловался, стонал, и штукатурка падала на пол. А за стенами дома грохотали, пролетая мимо, большие тяжелые предметы, они катились через всю Финляндию и на север выше Рованиеми. Они стали еще тяжелее от облепившего их мокрого снега, застревавшего на их поверхности, пока они катились, а иногда мимо пролетали падающие вниз и непрестанно кричавшие люди.

Снег на земле начал перемещаться. Он скользил, превращаясь в огромную лавину, он все рос и рос, перерастая край света.

…О нет! О нет!

Я каталась взад-вперед по ковру, чтобы испугаться еще сильнее, и в конце концов увидела, как стена поднимается надо мной, а картины повисли прямо на своих стальных проволоках.

— Что ты делаешь? — спросила мама. Тогда я затихла и лежала, не произнося ни слова.

— Давай рассказывать истории, — сказала она, продолжая рисовать.

Но я не желала слушать никакой другой истории, кроме своей собственной. Но об этом говорить нельзя. Поэтому я только ответила:

— Пойдем посмотрим, какой ветер.

Мама вытерла ручку для туши и пошла со мной. Некоторое время мы мерзли, стоя на ветру, и мама сказала:

— Здесь одиноко!

И мы снова вернулись в дом, где было тепло, и она забыла, что собиралась рассказывать истории. А потом я пошла и легла спать. А на следующее утро свет во всей комнате был зеленым, таким, какой бывает лишь под водной гладью. Мама спала. Я встала, открыла дверь и увидела, что лампы во всех комнатах горели, несмотря на то, что было уже утро. Зеленый свет проникал сквозь снег, залепивший все окна снизу доверху. Теперь это случилось. Дом превратился в один-единственный большой сугроб, а земля находилась где-то высоко над крышей. Скоро деревья тоже сползут вниз в снег, так что только их верхушки будут торчать наружу, а потом исчезнут и они, и все выровняется

и станет плоским. Я видела все это, я знала… Это было неизбежно и неумолимо.

Чрезвычайно торжественно и совершенно спокойно уселась я на ковер перед горящим огнем.

Мама проснулась, вышла ко мне и сказала:

— Погляди, как славно смотрится снег на всех окнах.

Она не понимала, как серьезно все обстоит на самом деле. Когда я рассказала ей, что случилось в действительности, она серьезно задумалась.

— Ты права, — через некоторое время произнесла мама, — вот мы и погрузились в зимнюю спячку в берлоге. Никому теперь сюда не войти, и никому отсюда не выйти!

Я пристально посмотрела на нее и поняла, что мы спасены. Наконец-то мы в абсолютной надежности и сохранности, наконец-то защищены. Угрожавший нам бедой снег спрятал нас в этом доме в тепле навсегда, и нам не надо ни в малейшей степени заботиться о том, что творится за стенами этого дома. Меня охватило чувство невероятного облегчения, и я закричала маме:

— Я люблю тебя!

Я хватала все подушки по очереди и бросала их в маму, я смеялась и кричала, а мама кидала их обратно. В конце концов мы обе лежали уже на ковре и только смеялись.

Затем мы начали нашу жизнь подземных жителей. Мы расхаживали вокруг в ночных рубашках и ничего не делали. Мама не рисовала. Мы были медведями с животами, набитыми хвоей, и разрывали насмерть всех, кто осмеливался приблизиться к нашей берлоге. Мы впали в расточительство; не жалея дров, бросали мы одно полено за другим в очаг, пока пламя не заполыхало и не заревело.

Иногда мы что-то непонятно бормотали. Мы предоставили внешнему миру, полному опасностей, самому заботиться о себе. Внешний мир умер, он выпал во Вселенную. Остались только мы с мамой!

Нас начали откапывать с самой дальней комнаты. Сначала послышался царапающий, злобный звук больших лопат и ковшей. Затем снег начал яростно и неистово падать вниз под окнами, и повсюду стал проникать в комнату серый свет. Кто-то протопал мимо снаружи, он подошел к следующему окну и впустил чуть побольше света. Это было ужасно!

Царапающий звук пронесся мимо всей вереницы окон, пока лампы не начали гореть, как на похоронах. За стенами дома падал снег. Деревья стояли рядами, черные, как прежде, принимая снег, и снова обозначилась опушка леса.

Мы оделись. Мама села рисовать.

Какой-то черноволосый парень продолжал разгребать снег за дверью, и я, внезапно заплакав, закричала:

— Я укушу его! Я выйду и укушу его!

— Не нужно! — сказала мама. — Он не поймет! Она снова отвинтила пробку на бутылочке с тушью и сказала:

— Подумать только, мы-то во всяком случае поедем домой!

— Да, — согласилась я. И тогда мы поехали.

КРАСНУХА

У меня была краснуха. Я лежала на своих нарах и пыталась связать крючком прихватку для горшков и котелков.

Одеяло мое было горным ландшафтом с мелкими гипсовыми животными, бродившими вверх и вниз и никогда не идущими вперед. В конце концов я устроила им землетрясение, и тогда они распростерлись на земле и не стали больше карабкаться вверх и спускаться вниз.

Попполино сидел в клетке на папиных нарах и что-то искал в своих газетах и бумагах. Он поднимал их одну за другой, роняя, словно они вызывали у него отвращение, таращился в потолок и рассеянно чесался. Его глаза при зимнем освещении казались совсем желтыми.

Внезапно он испугался собственного хвоста, торчащего из-под газет, и решил, что это змея! Он заорал, взвился на свое деревцо, бросился к решетке и стал трясти клетку с такой силой, что с потолка посыпалась штукатурка. Затем он снова сидел молча, и вид у него был, как у грустной крысы с очень узенькой спиной. Опустив свою длинную верхнюю губу, он смотрел прямо перед собой, а руки его свисали вниз так, словно ничего на свете не стоило его трудов. А потом Попполино заснул.

День был печальный. Я повернулась лицом к оклеенной бумагой стенке и через свое тайное смотровое отверстие стала глядеть вниз в мастерскую.

Мама была на монетном дворе и рисовала. Папа стоял перед вращающимся шкивом с испачканными глиной тряпками в руках. Он швырнул их в ящик с глиной и запустил вращающийся шкив в ход, так, чтобы он завертелся, а диск заскрипел. Потом папа зашел с задней стороны машины и посмотрел.

Он снова запустил вращающийся шкив в ход и долго стоял и смотрел. Затем подошел к окну и стал глядеть вниз на улицу. Потом передвинул какую-то банку, пошел в гостиную и стал и там смотреть в окно. Он принес воды и полил плющ на стене.

Я вертелась, пытаясь заснуть, но никак не могла… Через некоторое время снова заскрипел диск вращающегося шкива. Потом я услыхала, что папа вернулся обратно в гостиную и стал вдруг тарахтеть деньгами и гвоздями, которые держал в карманах своего рабочего халата. Он включил радио и надел наушники. Затем снова выключил приемник и снял наушники.

Попполино проснулся и закричал. Он стал трясти клетку и совать морду между прутьями решетки и кричать, глядя вниз на папу в гостиной. Папа поднялся на свои нары, сел перед клеткой

и стал очень ласково беседовать с Попполино, но я не слышала, что он ему говорил. Папа открыл дверцу и попытался надеть на Попполино ошейник. Но Попполино вывернулся у него из рук и, сделав длинный прыжок, оказался на диване в гостиной, а затем ворвался в мастерскую. Потом наступила тишина.

Папа снова спустился по лесенке вниз и позвал Попполино. Он звал его ласковым сладким голосом, который жутко злил меня. А теперь они оба уже были в мастерской. Попполино, сидя на гипсовом бюсте наверху под самым потолком, таращился на папу, а тот манил обезьяну вниз. И вот тогда-то это и случилось снова.

Как-то раз Попполино стал раскачивать гипсовый бюст, а потом, разбежавшись, прыгнул на него. Это был большой бюст горного советника, и когда бюст разбился и осколки разлетелись по полу, раздался ужасающий звук. Попполино висел на занавеске и кричал от испуга, но папа не произнес ни слова.

На этот раз вниз рухнуло что-то такое же большое, я лишь услыхала грохот, потому что смотреть больше не смела.

Когда все стихло, я поняла, что Попполино спасся от беды у папы, и его утешили. Через некоторое время они должны были вместе пойти гулять в парк. Я внимательно прислушивалась.

Вот на Попполино надели бархатный плащ и шляпу. Застегивая обезьяне пуговицы на плаще и завязывая ленту на шляпе, папа говорил не переставая, а Попполино жаловался и рассказывал, что ему пришлось пережить!

Вот они вышли в тамбур. Дверь стукнула, когда они отправились гулять.

Я встала, собрала всех своих гипсовых животных и бросила их через балюстраду вниз в гостиную. Спустившись по лесенке, я взяла каменный молоток и превратила их в пюре, а гипс втерла ногами в ковер. Затем я снова поднялась наверх и влезла в клетку обезьяны. Я уселась в его газеты и стала выдыхать что есть силы на все, что лежало в клетке, микробы краснухи. Когда папа и Попполино вернулись домой, они, оказывается, уже побывали в магазине и купили салаку.

Я лежала под одеялом и слышала, как папа посадил в клетку Попполино. Голос его звучал радостно, и я поняла, что Попполино угостили лакрицей[25]. Потом папа перешел на мои нары и хотел угостить лакрицей и меня.

— Обезьянья еда! — сказала я. — Я не ем то же, что и тот, кто разбивает скульптуры!

— Но они были неудачные, — возразил папа. Просто прекрасно, что Попполино их разбил. Как ты?

— Я, пожалуй, скоро умру, — ответила я и еще глубже

нырнула под одеяло.

— Не будь дурочкой! — сказал папа.

Я не ответила, и он спустился вниз в мастерскую и принялся за работу. Он что-то насвистывал. Я слышала, как он ходил взад-вперед перед вращающимся шкивом, насвистывал и работал.

Я чувствовала, как в пальцы моих ног заползает, пробуждаясь, нечистая совесть. И чрезвычайно быстро, прежде чем она успела подняться выше, я уселась и стала вязать. Но уже не прихватку для горшка, а пуловер для Попполино. Никогда не знаешь, почему и каким образом люди радуются и испытывают желание работать. Да и насчет бацилл тоже ничего не знаешь. Лучше не думать слишком много, а как можно быстрее уладить все добрым делом.

ЛЕТАТЬ…

Мне снилось, что множество людей бегало внизу по улице. Они не кричали, но слышно было, как их ботинки стучат по тротуару, много тысяч ботинок… а в мастерской горел красный свет. Мало-помалу бегущих осталось не так уж много, и в конце концов стали слышны лишь шаги самого последнего, бежавшего так быстро, что он упал, а потом поднялся и побежал снова.

Потом все сузилось. Каждый предмет мебели стал казаться длинным и узким и исчезал где-то вверху на потолке. Что-то проползло под тряпичным ковриком в коридоре. Оно тоже было узеньким и ползло посредине коридора, иногда очень быстро, а иногда — очень медленно. Я попыталась войти в спальную, где мама зажгла керосиновую лампу, но дверь была заперта. Тогда я взбежала по лесенке на нары. Дверь в клетку Попполино была открыта и я слышала, как он шлепал где-то вокруг в темноте и жаловался, как обычно делает, когда очень холодно или когда он чувствует себя одиноким.

Вот оно поднимается вверх по лесенке, серое и спотыкающееся. Одна нога у него сломалась. Это был призрак дохлой вороны. Я вбежала в гостиную и взлетела под потолок, как муха. Я видела под собой внизу словно в глубоком колодце, который все дальше и дальше опускался вниз, гостиную и мастерскую.

Я и потом продолжала размышлять об этом сне, особенно о том, чтобы летать, и решила делать это как можно чаще.

Но сделать это не пришлось, мне снились уже совершенно другие вещи. В конце концов я стала сочинять свои сны сама, прежде чем заснуть, или как раз когда просыпалась. Сначала я выдумывала все самое ужасное, что только могла, и это было не особенно трудно. Когда ужасов было более чем достаточно, я прыгала и, оторвавшись от пола, взмывала ввысь, улетая от всего… Самое ужасное оставалось внизу в глубине колодца.

Там сгорел дотла целый город. Там топал вокруг во мраке мастерской Попполино и кричал от одиночества. Там сидела ворона и каркала:

— Это ты виновата в моей смерти! А нечто безымянное заползло там под коврик…

А я только и делала, что летала. Вначале я взмывала ввысь, словно муха, затем осмеливалась вылетать в окно. Самое дальнее расстояние, на которое я была способна летать, — это наискосок по улице. Но если я спускалась вниз, в планирующем полете, я могла держаться сколько угодно, вплоть до самого дна колодца.

Там я, разбежавшись, взлетала на улицу и снова поднималась ввысь.

Проходило совсем немного времени, прежде чем на меня обращали внимание. Сначала люди просто стояли, глядя на меня, потом начинали кричать, и указывать на меня, и сбегаться со всех сторон. Но прежде чем они успевали добежать до меня, я разбегалась — и снова я уже лечу в воздухе, и хохочу, и машу им рукой. Они бежали за мной. Они мчались за переносными лестницами, но это тоже не помогало.

Тогда они лишь застывали на месте и мечтали научиться летать. Потом они очень медленно снова шли домой и продолжали работать.

Иногда работы у них было слишком много, а иногда с работой ничего не получалось, вот несчастье! Так что мне становилось жалко их, и я делала так, чтобы они все вместе могли летать. На следующее утро все просыпались, не подозревая, что случилось, и говорили:

— Ну, снова беда, хо-хо, да-да!

Они спустились вниз со своих нар, выпили теплого молока с пенкой, и им позволили съесть также и пенку. Затем надели плащи, шапки и спустились вниз с лестниц, отправляясь на работу, и шли туда, задаваясь вопросом, удастся ли им сесть на трамвай. Но потом решили в любом случае идти пешком, потому что ехать семь остановок — просто необходимо, но пять — куда ни шло, можно пройти пешком, да и холодный воздух полезен. Одна из женщин спустилась вниз по улице Лотсгатан, и на подошвы ее ботинок налипла куча мокрого снега. Так что она немного потопала ногами, чтобы стряхнуть снег… И тогда… Она взлетела в воздух! Всего лишь на несколько метров, затем она приземлилась снова и, стоя на земле, не могла понять, что же произошло.

И тут она увидела некоего господина, бежавшего за трамваем. Трамвай зазвенел и поехал, так что господин помчался еще быстрее и в следующий миг взлетел ввысь. Он поднялся с земли и, описав дугу, опустился прямо на крышу трамвая, да так и остался там сидеть!

Тут мама (а это была она) расхохоталась изо всех сил и тотчас поняла, что произошло. Она закричала:

— Хо! Ха!

И взлетела на крышу дома Виктора Эка, описав одну единственную длинную, красивую кривую… И тут она увидела папу, стоявшего у окна мастерской и дребезжавшего гвоздями и мелкими деньгами в кармане своей спецовки. И тогда она закричала:

— Привет! Прыгай из окна! Прыгай ко мне, полетим!

Но папа не осмелился, прежде чем мама не перелетела к нам и не села на наружный жестяной подоконник. Тогда он открыл окно, взял ее за руку, вылетел на улицу и сказал:

— Чертовщина какая-то!

В это время весь Хельсингфорс был заполнен удивленными летающими людьми. Никто не работал. Окна повсюду были открыты, а внизу на улице стояли пустые трамваи и машины. Снегопад прекратился, и выглянуло солнце.

Все новорожденные и все древние старики летали, летали их кошки, и собаки, и морские свинки, и обезьяны, абсолютно все!

Президент появился на улице и тоже летал!

На всех крышах полно было экскурсантов, они вытаскивали свои пакеты с бутербродами, открывали свои бутылки и кричали друг другу наискосок через улицу: «Твое здоровье!» И всякий и каждый, будь то он или она, делали только то, что им хотелось.

Я стояла у окна спальни и смотрела на всю эту картину, и мне было весело, и я задавала самой себе вопрос, сколько еще времени я позволю им летать… Потом я подумала, что если я, как обычно, все повторю, это может стать опасным.

Подумать только! А что, если они и на следующий день откроют окна и выпрыгнут оттуда! Поэтому я решила: пусть продолжают летать! Я постановила: пусть все в Хельсингфорсе летают до конца света.

Я открыла окно в спальне и влезла на подоконник вместе с вороной и Попполино.

— Не бойтесь! — сказала я.

И тогда мы полетели.

РОЖДЕСТВО

Чем ты меньше, тем больше становится Рождество. В доме, под елкой, Рождество непомерно велико. Это зеленые джунгли с красными яблоками и печальными прекрасными ангелами, которые кружатся вокруг самих себя на своих нитках, охраняя вход в первобытный лес. И первобытный лес тянется в бесконечность, отражаясь в стеклянных шариках. Благодаря ели Рождество — это абсолютная надежность.

Где-то там внизу мастерская — очень большая и очень холодная. Тепло только далеко-далеко впереди, у самой печки. Огонь и тени видны на полу и на ногах скульптур, которые походят на колонны.

Мастерская полна скульптур, полна больших белых женских фигур, которые издавна обитали там. Они стоят повсюду, движения их рук неопределенны и робки, смотрят они мимо тебя, и поэтому они так безразличны и грустны, но совсем на иной лад, нежели мои ангелы. У некоторых на голове — повязки, а у самой большой — веревка вокруг живота. Веревка мокрая, и когда проходишь мимо, она скользит по твоему лицу, словно крылья холодных белых птиц в темноте. Вечером — всегда темно!

Окно мастерской запрещено мыть раз и навсегда, потому что оно очень красиво освещено: там сто мелких стеколец, несколько более темных, чем остальные, а фонари за окном качаются и рисуют собственное окно на стене.

Там, в мастерской, висят крепкие полки, одна под другой, а на каждой полке — белые женщины, но они совсем маленькие. Они поворачиваются друг к другу и отворачиваются одна от другой, но движения их такие же нерешительные и застенчивые, как и у больших настоящих женщин. Со всех этих скульптур стирают пыль как раз перед самым Рождеством. Но прикасаться к ним имеет право только мама, а гранаты времен войны вообще вытирать нельзя.

Папины женские фигурки — священны. После того как их отливают из гипса, он не обращает на них ни малейшего внимания. Но для всех остальных — они священны.

Кроме фигурок женщин, окна и печки, все остальное — тени. У стен лежит угрожающая куча, которую исследовать нельзя, так как она представляет собой железные конструкции, ящики с глиной и гипсом, формы для отливки гипса, древесину, тряпки и поделочный лес, а под ними и за ними ползают таинственные существа с черными, как ночь, глазами.

Но посреди комнаты — пусто. Там стоит лишь единственный

вращающийся шкив с женщиной, завернутой в мокрые тряпки, и она — самая святая из всех. Вращающийся шкив опирается на три ножки, отбрасывающие неподвижные тени на блестящие пятна цементного пола и на потолок, который так далек, что никто не может добраться туда, пока не привезут домой елку. У нас самая прекрасная и самая высокая елка в городе, и быть может, она стоит целого состояния, потому что должна доходить до потолка и быть густой и колючей. У всех других скульпторов елки маленькие и плохие, не говоря уж об из известных нам художниках, у которых, вероятно, вовсе никакой елки нет! Люди, живущие в обычных квартирах, ставят свою елку на стол со скатертью, бедные люди! Они покупают свою елку мимоходом.

Мы, стало быть папа и я, поднимаемся в шесть часов утра, так как елки нужно покупать в темноте. От Сорочьего мыса мы едем на другой конец города, где есть большая гавань, без которой и не представить покупку елки. Обычно мы выбираем елку несколько часов, не доверяя каждой ветке, которая может быть испорчена. В лесу всегда ужасно холодно. Однажды верхушка елки угодила папе прямо в глаз.

Утренний мрак полон черных мерзнущих фигур, которые ищут ель, а снег усеян иголками. Над всей гаванью и елочным торжищем царит атмосфера угрозы и очарования.

И вот мастерская превращается в первобытный лес, где можно прятаться и оказаться недостижимым глубоко-глубоко под елью. Под елями надо быть очень любезным. В мастерской есть также места, чтобы горевать или ненавидеть, например между дверями, куда бросают почту. На дверях тамбура красуются мелкие зеленые и красные стекольца, дверь узкая и торжественная, а тамбур полон одежды, лыж и ящиков для упаковки, как раз между дверями, где еле-еле находишь еще меньшее пространство, чтобы стоять там и ненавидеть.

Если станешь ненавидеть в большой комнате, тут же умрешь! Но если ты в тесноте, ненависть входит в тебя обратно и витает вокруг тебя, так что она никогда не достигает Бога.

С елями все совершенно иначе, в особенности если шары уже повешены. Они вбирают в себя любовь, и поэтому так ужасно опасно их потерять.

Как только ель попадает в мастерскую, все приобретает совершенно новое значение, заряд святости, что даже с искусством ничего общего не имеет.

Рождество начинается тогда всерьез. Мы с мамой ходили к ледяным горкам за русской церковью и наскребали там мох. Из глины мы воздвигали священный ландшафт с пустыней и Вифлеемом, каждый раз с новыми улицами и новыми домами; мы

занимали все окно мастерской, мы выкладывали зеркальные озера, и разбрасывали по всей местности стада, и дарили им все новых и новых овец, а овцам — новые ноги, потому что старые растворялись в мшистой поверхности, и осторожно посыпали ее сверху песком, чтобы глину можно было использовать еще и потом. А когда мы вытаскивали ясли[26] с соломенной кровлей, привезенные из Парижа в одна тысяча девятьсот десятом году, папа бывал очень тронут, и Мария всегда сидела далеко впереди, а Иосиф держался возле коров, потому что его фигуру повредили, залив водой, а кроме того, он был меньше ростом.

Последним появился младенец Иисус, слепленный из воска, но с настоящими кудрявыми волосами, которые делали в Париже еще до того, как я родилась. После того, как его помещали в ясли, надо было долгое время хранить молчание.

Однажды Попполино, вырвавшись на волю, схватил младенца Иисуса. Забравшись на папину статую Свободы, он уселся на рукоятку меча и съел Иисуса.

Мы ничего не могли поделать и не смели смотреть друг на друга. Мама слепила из глины нового младенца Иисуса и разрисовала его. Нам показалось, что он стал слишком румяным и вышел слишком толстым в талии, но никто не произнес ни слова.

Рождество всегда бывает шуршащим. Оно шуршало каждый раз, шуршало таинственно, это шуршащая серебряная и золотая, да и шелковая бумага — пышное изобилие сверкающей бумаги, в которую заворачивали, и которой украшали, и в которую прятали все подарки. Это изобилие бумаги вселяло в тебя ощущение неудержимой расточительности.

Повсюду были звездочки и бантики, даже на блюде с брюквой и на дорогой покупной колбасе, которая еще осталась на столе, прежде чем мы принялись за настоящую ветчину.

Проснувшись ночью, можно было услышать надежное шуршание подарков, которые заворачивала в бумагу мама. Однажды ночью она разрисовывала печь, украсив снизу доверху каждую кафельную плитку маленькими голубыми ландшафтами и букетиками цветов.

Она разрисовала перцовые рождественские пряники в виде козликов и приделала ноги к булочкам-кошкам особой формы, которые в Швеции пекут специально ко дню Люсии[27], а в середину живота вставила им изюминку.

Когда они приехали сюда из Швеции, у них было по четыре ноги, но с каждым годом ног становилось все больше, пока кошки не оказались в окружении безумного и витиеватого орнамента.

Мама взвешивала на весах для писем конфеты и орехи, чтобы

всем досталось точно поровну. Весь год пусть все идет, как получается, ни у кого нет времени делать все, как положено, но Рождество — пора абсолютной справедливости. Поэтому оно заставляет всех делать что следует, напрягая все свои силы!

В Швеции набивают колбасы, а свечи льют из воска, и много месяцев подряд носят маленькие корзинки беднякам, а мамы шьют по ночам подарки.

А когда наступает Сочельник, решительно все они становятся Люсиями[28].

В первый раз, когда папа увидел Люсию, он очень испугался, но, разглядев, что это была всего-навсего наша мама, засмеялся. А потом пожелал, чтобы она устраивала ему такое развлечение каждый Сочельник.

Я лежала на своих нарах и слышала, как Люсия поднимается по лесенке — ей это было нелегко! Зато красиво, словно на небесах! А она вдобавок слепила еще и марципанового поросенка — такого, какого пекут в Швеции в виде перцового пряника ко дню Люсии. Затем она снова немного спела и поднялась на папины нары. Поет мама только один раз в году, потому что у нее непорядок с голосовыми связками.

Вокруг наших нар, на балюстраде, стояло много сотен свечей в ожидании, что их зажгут прямо перед чтением Рождественского Евангелия. Тогда свечи странствуют, словно порхающие жемчужные нити, вдоль и поперек всей мастерской. Возможно, этих свечей даже целая тысяча. Когда свечи догорают, становится очень интересно, потому что оклеенные бумагой стены легко могут загореться.

Ближе к полудню папа обычно начинает волноваться, потому что очень серьезно относится к Рождеству и едва выдерживает все приготовления к нему. Его терпение кончается. Он поправляет каждую свечу и предупреждает нас об опасности пожара. Он выбегает на улицу и покупает Омелу белую[29] — очень маленький букетик, что красивее всяких роз и орхидей и должен висеть на потолке.

Папа все время спрашивает, можно ли быть уверенным, что все в порядке, и внезапно ему кажется, что Вифлеем скомпонован неправильно. Затем он принимает таблетку, чтобы успокоиться. Мама пишет стихи и снимает лак с золотых лент и бумаги, оставшихся с прошлого года.

Настают сумерки, и папа отправляется на кладбище с орешками, чтобы покормить белок и взглянуть на могилы. Он никогда особенно не интересовался лежавшими в них родственниками, да и он им не очень нравился, так как были они дальними и абсолютно буржуазными. Но когда папа снова

возвращается домой, он печален и взволнован вдвойне, так как кладбище удивительно красиво со всеми своими горящими свечами. Как бы то ни было, белки закопали множество орехов у родственников, хоть это и запрещено.

И все-таки сама мысль об этом — утешительна. После обеда наступает длительный перерыв, чтобы уступить место Рождеству.

Мы лежали на наших нарах в темноте и слышали, как внизу у печки шуршит бумагой мама, а улица за окном стала совсем тихой.

Затем начинались длительные шествия, когда зажигалась одна свеча за другой, и папа бежал со своих нар вниз посмотреть, абсолютно ли вертикально держатся свечи на елке и как бы свеча за спиной Иосифа не сожгла соломенную крышу.

А потом настал час чтения рождественского Евангелия. Самый торжественный миг был, когда Мария сокрыла слова в сердце своем, и почти так же красиво, когда они снова отправились уже другим путем домой, в свою страну. Остальное было уже не так опасно.

Мы немного передохнули, а папа снова принял успокоительную таблетку, и теперь я, ликуя, ощутила, что Рождество принадлежит мне.

Я заползла в зеленый первобытный лес и вытащила свой пакет с подарками из-под ветвей, ощущение полноты любви и нежности было почти нестерпимым. Необычайная святость всех Марий, ангелов, мам, Люсий и скульптур — все вместе благословляло и прощало меня за весь год, даже этот тамбур, все на всей Земле прощали меня, только если были уверены в том, что все любили всех.

И как раз в эту минуту я уронила самый большой стеклянный шар на цементный пол, и он превратился в самые маленькие и самые грустные на свете осколки. Тишина, наступившая после этого, была неслыханной. На горлышке шара имелось небольшое колечко с двумя металлическими проволочками. И мама сказала:

— У этого шара всегда был неприятный цвет.

И вот наступила ночь, когда все свечи догорели, все пожары потушили, а все ленты и бумаги свернули до следующего Рождества.

Подарки я держала у себя в постели.

Иногда папины домашние туфли съезжали вниз в мастерскую, или он съедал немного селедки и принимал таблетку или пытался извлечь звуки из радио, которое сам смастерил. Мир и покой были в доме — абсолютно полный покой и мир.

Однажды что-то случилось с радио, и, прежде чем помехи появились вновь, оно сыграло целиком какую-то песню. Но даже

помехи являют собой частицу какого-то чуда, они словно непонятные и одинокие сигналы отсюда — во Вселенную.

Папа долго сидел и ел селедку, пытаясь выискать настоящие мелодии. Когда же это не получалось, он снова поднимался на свои нары и шелестел газетами.

Мамины свечи давным-давно погасли, пахло хвоей и чуточку горелым, а вообще-то веяло благословенным блаженством.

Самое спокойное время наступает, когда Рождество подходит к концу. Тогда ты, получив за все прощение, снова можешь стать самим собой как обычно.

Мало-помалу мы убрали все святыни и сложили их в шкаф в тамбуре; еловые же ветки с маленькими, но бурными взрывами сгорели в печи. Но ствол ели сожгли мы только на следующее Рождество. Он простоял весь год рядом с ящиком гипса, напоминая нам о Рождестве и абсолютной надежности всего сущего.

notes

Примечания

1

Ханаан — древнее название территорий Палестины, Сирии и Финикии. Здесь: Земля обетованная, так как в Палестину, по библейскому сказанию, Бог привел евреев из Египта. — Здесь и далее примеч. пер.

2

По библейской легенде, пища, падавшая с неба для израильтян, странствовавших по пустыне.

3

«Золотой теленок» или «Златой телец» (согласно тексту Библии) — символ поклонения власти золота, денег, богатства.

4

Агнец — жертвенное животное.

5

Популярная в Финляндии и Швеции песня, использованная также в рассказе Астрид Линдгрен «Рождество в Смоланде в давние-предавние дни» (перевод М. Яснова). Популярная в Финляндии и Швеции песня, использованная также в рассказе Астрид Линдгрен «Рождество в Смоланде в давние-предавние дни» (перевод М. Яснова).

6

Виктор Эк (1858–1922) — владелец известной фирмы по перевозке вещей.

«Столичный Листок» (шв.)

8

Героиня датского фольклора, а также одноименных стихотворения и замечательной сказки великого датского писателя Ханса Кристиана Андерсена (1805–1875)

9

Полярная птица семейства гусиных.

10

В яслях (кормушке для скота в виде решетки, прикрепленной наклонно к стене) хлева в городке Вифлееме, в шести английских милях к югу от Иерусалима, согласно библейскому преданию, лежал новорожденный младенец Иисус Христос.

11

Шведская миля равна 10 км.

12

Друзья отца писательницы.

13

То есть 9 баллов по шкале Бофорта — условной шкале для оценки силы ветра в баллах.

14

Ион Бауэр (1882–1918) — знаменитый шведский художник-иллюстратор, создавший особый таинственный и прекрасный мир литературных сказок Швеции на рубеже XIX и XX веков.

15

По библейской легенде, Иаков увидел однажды во сне лестницу, верх которой касался неба. Там стоял Господь, пообещавший Иакову не оставить его.

16

Совокупность надпалубных частей оборудования судов (мачты, реи и др.), предназначенных для постановки и растягивания парусов, для сигнализации, для установки грузоподъемных устройств.

17

Судовые тросы (мор.).

18

Веревка для буксировки и привязывания лодки к причалу или кораблю (мор.).

19

Женщина, хозяйка, госпожа.

20

Здесь — материал для крепления шахт.

«Дорогая» (англ.).

22

Сиденье на гребной шлюпке, скамья в лодке (мор.)

23

Девочка вспоминает здесь довольно несвязно сказочных персонажей и разных придуманных ею героев. Возможно, речь идет о герое библейского мифа Олоферне.

24

Лопаточка каменщика для размешивания извести, цемента.

25

Сладкое лакомство черного цвета, содержащее сок корня солодки.

26

Имеются в виду ясли, в которые положили новорожденного Иисуса.

27

13 декабря в Швеции торжественно празднуют день Люсии, читатели местных газет выбирают самую красивую девушку, и она с венцом из свечей на голове возглавляет торжественное шествие в городе. В домах Люсией обычно бывает хозяйка или старшая дочь.

28

В доме Янссонов праздник Люсии отмечали вместе с Сочельником.

29

Ветка вечнозеленого кустарника с ядовитыми белыми ягодами. Ветка употребляется только как декоративное растение.